22 7/250

РУССКАЯ ИСТОРИЯ В ПОПУЛЯРНЫХ ОЧЕРКАХ

М. Н. КОВАЛЕНСКИЙ

22 7/250

МОСКОВСКАЯ СМУТА

XVII ВЕКА

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА 1922

227/250

РУССКАЯ ИСТОРИЯ В ПОПУЛЯРНЫХ ОЧЕРКАХ.

22.250
947
К-56.
ПРОВ. 1935

М. Н. КОВАЛЕНСКИЙ.

МОСКОВСКАЯ СМУТА XVII ВЕКА,

ЕЕ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.

ОБЪЕДИНЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И. К. П.
183312

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА ◇ 1922.

К
3С
3088
Т

ОТПЕЧАТАНО В
КОЛИЧЕСТВЕ
6000 ЭКЗЕМПЛ. В
20-й ТИПОГРАФИИ
М. С. Н. Х. Р. Ц.
Москва. № 438.

I.

В чем заключалась московская смута XVII века, чем она была вызвана, какие были ее последствия для русской жизни,—вот ряд вопросов, которые необходимо решить, чтобы выяснить, какое место принадлежит этой смуте в русской истории, а также в истории Европы, и каков вообще ее смысл и ее значение.

В ходячем пониманнии смуты она как-то связывается с одной очень яркой, мелодраматической фигурой, фигурой первого самозванца, судьба которого так таинственна, так блестяща—и так беспощадна. За этой фигурой исчезает для нас бесконечная перспектива лиц, событий и положений, составляющая другую, подлинную историю того, что современники так удачно назвали «московской разрухой». И в самом деле, это была разруха, полное крушение старого московского порядка,—порядка, созданного с таким трудом первыми царями из дома Калиты, и с неменьшим трудом восстановленного потом первыми царями из нового дома Романовых. Смута легла резкой гранью, можно сказать, бездонной пропастью между Московским государством Грозного царя—и московским государством царя Тишайшего. Оба царя, Грозный и Тишайший, с гораздо большей легкостью и удобством могут подать руку через эту пропасть друг другу, чем кому-либо из людей, вырывших

между ними эту пропасть. «Страшная встряска перебуровила все вверх дном», говорит о московской смуте Костомаров, до такой степени «вверх дном», что даже ему, историку XIX столетия, отделенному почти тремя веками от той эпохи, все это представлялось какой-то катастрофой, не связанной с русской жизнью ни корнями своими, ни выросшими из нее плодами. Да и не было даже, по его мнению, никаких плодов: смута была бесплодна для русской жизни.—«В строе жизни нашей нет следов этой страшной кары Божией... Русская история вообще идет чрезвычайно последовательно, но ее разумный ход будто перескакивает чрез смутное время,—и далее продолжает свое течение тем же путем, тем же способом, с теми же приемами, как прежде. В тяжелый период смуты были явления новые, чуждые порядку вещей, господствовавшему в предшествовавшем периоде, однако они не повторялись впоследствии, и то, что казалось, в это время сеялось, не возрастало после».

Наши предки, московские люди XVII века, бывшие современниками и—многие из них—участниками смуты, прекрасно видели и отчетливо записали для нас эти новые, чуждые черты, какими отличалась смута. В XIII томе Русской Исторической Библиотеки, посвященном памятникам смутного времени, содержится целая галлерея этюдов о смуте, сделанных, можно сказать, с натуры, ярко рисующих нам всю экзотичность этой эпохи для русской жизни. Здесь собраны и грамоты святейшего патриарха Гермогена, и сказания троицкого келаря Авраамия Палицына, и Временник дьяка Тимофеева, и другие разные повести и видения; среди них—и «Повесть вельми дивная и полезная нынешнему роду лукавому и непокоривому», и «Плач о пленении Москвы». Из всего содержащегося в этих памятниках ма-

териала слагается большая и цельная картина, замечательно верно передающая сущность интересующей нас эпохи.

Факты, из которых слагается эта картина, трояко-го рода. Одни из них говорят о неслыханных потрясениях, какие пришлось пережить Московскому государству, политическому его строю, самодержавной власти московских государей. Другие рисуют общественную перестановку классов, нарождение и успехи первой русской (московской) демократии—вообще все, что можно объединить названием социальной революции. Третий ряд фактов касается внешней борьбы, борьбы с иноземной силой, спешившей использовать для себя русскую смуту и едва не поделившей между собою России.

Политические потрясения смутного времени были, действительно, велики. Не трудно себе представить, что должны были переживать московские люди, на глазах которых развертывались такие события, как свержение Ѳедора Годунова, потом Лжедмитрия, потом Шуйского, и даже само возведение на престол этих государей. Людям, выросшим в Москве царя Грозного, это должно было казаться прямо светопреставлением. «Божиим попущением, за бесчисленные наши всенародного множества грехи, над Московским государством и над всей великой Российскою землей учинилась неудобь-сказаемая напасть,—писал в 1606 году патриарх Гермоген о первом самозванце;—злой льстец, сын диявольский, еретик, чернец и расстрига, бесосоставным своим умышлением назвался царевичем Димитрием, коснулся царскому венцу; христианскую веру хотел разрушить,—но его самого вскоре Бог разрушил». Без участия дьявола и бесов патриарх и не мог никак объяснить это-

го изумительного факта. Но если вызывало такое изумление воцарение Расстриги, то что же было сказать о судьбе Годуновых, которые так ненадолго блеснули на троне Мономаха? «Где ныне слава высокоумного Бориса?» восклицает автор так называемого «Иного сказания»: «Где супруга его и чада любимые? Где чертоги златоверхие? Где трапезы пресветлые и тельцы упитанные? Где рабы и рабыни предстоящие? Где порты и обуища драгоценные? И где прочие утвари царские? Кто может жену и чада изъять из рук спекулятора (палача)? Возводят они очи семо и омаво, и не обретут никого себе помощника, и удавлению предаются, и без милости смерть приемлют». Не с меньшим удивлением, но с большим спокойствием и даже юмором говорит об этих странных временах другой современник, князь Катырев-Ростовский; свое удивление он высказывает в стихотворной форме:

„Изложена бысть сия летописная книга
О нахождении чюдовского мниха,
Понеже бо он бысть убогий чернец,
И возложил на ся царский венец,
Царство великия России возмутил
И диадиму царскую на плещах своих носил".

Или вот как рисуется смена царей смутного времени Ивану Тимофееву; этот дьяк, «в приказах поседелый», пишет: после «царя, самодержавнейшего в правду» (Ивана Грозного) и его преемников, «святоцаря» (Θедора Ивановича) и «рабоцаря» (Бориса Годунова), настало на Руси время «лжецарей»; это были «лжецари от страднической четы, безымянные, мельчайшие и самозванные, на царский престол разбойнически наскакающие». О свержении Годуновых наш автор рассказывает: «Лжедмитрий царя Бориса, как дикий ко-

зел барана рогами сбод, с самого престола стремглав на землю сверг. Но и Лжедмитрию не долго пришлось процарствовать: Бог не попустил ему «целый год царский престол сквернить».

О том же Лжедмитрии его собственный царедворец, бывший впоследствии царедворцем и царя Михаила, говорил, что это был «пес смрадный, а не царь на престоле»; а после него—явился «Дукс Василий»,—который «ульстил людей и клятву на себя взял, и нарушил клятву». Этот самый «дукс Василий», о котором патриарх Гермоген писал, что это—«от прежнего царского корени благоцветущая ветвь, посланная нам самим Богом»,—оказывался совсем иным в глазах других русских людей: по отзыву князя Катырева-Ростовского, писателя Романовской партии и будущего комнатного человека при царе Михаиле, Шуйский был «ростом мал, образом же нелепым, скуп вельми и неподатлив, ко единым тем тщание имея, которые во уши ему ложное на людей шептали»; и по отзыву дьяка Тимофеева, был он «нечестив всяко и скотолепен, царствовал в пьянстве и в ворожбах богомерзких; мучительски, а не царски правил он свою власть,—суди ему, Боже, по делам его». Этому царю не побоялись русские люди в глаза сказать, устами Захара Ляпунова, что из-за него кровь христианская льется, что он не по правде на царство сел и несчастен на этом царстве, и что ему нужно оставить посох свой и сойти с престола, «а мы уже о себе как-нибудь промыслим»; когда же царь не послушался этого сразу, тот же Захар Ляпунов на него прикрикнул: «Не тронь меня, я вот возьму тебя в руку, так и сомну всего!» Тот же Иван Тимофеев, который дал царю Шуйскому такую убийственную для него характеристику, не может где, жать

по этому поводу своего возмущения и негодования, и патетически, как истинный монархист, восклицает: «Что обрыдаю первее, самого ли царя, или царствие его? Как не усохли руки, коснувшиеся высоты престола!»

Но не только не усохли руки, но эти примеры воспитывали совсем в новом духе прежних холопов царя Ивана. Стоит вспомнить, как выросло за время смуты значение земских соборов, как смело заговорили тогдашние московские люди об ограничении царской власти, чтобы понять все значение полученного ими таким путем политического воспитания. Не говорим уже о королевиче Владиславе, который должен был обещать, что о целом ряде вопросов—«чего в тех артикулах (договорных условиях) не доложено»,—будет решать «с патриархом, с боярами и со всею землей», и что это будет так «по обычаю Московского государства»,—(королевич был в конце-концов поляк, человек другого племени и иной веры, и его ограничение звучит скорее национализмом, чем политикой);—но сам царь Шуйский, государь княжеского рода, природный Рюрикович, да еще старшей ветви,—более старшей, чем все бывшие государи дома Калиты и чем сам Иван Грозный,—царь, по прямой линии происходивший от благоверного и святого князя Александра Невского,—и этот царь дает крестоцеловальную запись и заканчивает ее словами: «На том на всем, что в сей записи писано, я, царь и великий князь всея Руси, целую крест всем православным христианам». Как бесконечно далеко это крестоцелование царя Василия от всего, за что боролся царь Иван, и от того, что считал для себя возможным и допустимым царь Алексей; царь Иван, говоривший иноземному послу: «Наших великих государей вольное царское самодержавство—не как ваше

убогое королевство, великим государям не указывает никто, а тебе твои панове как хотят, так и укажут», и не хотевший признавать себе ровней ограниченных во власти государей, называя их простыми старостами, или «урядниками»; и царь Алексей, отказывавшийся целовать крест новопринятой в подданство Малороссии, что будет соблюдать старые казацкие вольности,—на том основании, что в Москве того не повелось, чтобы государь кому-либо крест целовал...

Тот же дьяк Тимофеев, приходивший в священный ужас от того, что чьи-то руки осмелились «коснуться высоты престола», в сильных выражениях рисует нам то состояние умов, какое царило на Руси во время смуты. Из его рассказа хорошо видно, каких успехов достигало то политическое воспитание, какое давала московским людям смута. Он вспоминает те времена, когда «наши самодержавные в своих державах обладали нами всеми, от века, рабами своими», «как мы были к ним доселе непрекословны, во всякой службе были им послушны, не до крови только, но и до самой смерти: безответны были к ним, как безгласные рыбы, всяко со тщанием кротко рабское иго носили, повиновались им во страхе подобном, честь страха ради творили им, вмале яко не равную с Богом». Но все это совершенно с тех пор изменилось: «В повинующихся рабах естественный страх к покорению владыке оскудевал, исчезая; рабопослушные многие стали самослабостны, и на каждый час изменяемы, и словопревратны удобь, и всяко неутвержены ни в чем, в делах и в словах нестоятельны, по всему вертелись, как колесо». По всей стране царила «преумноженная чадь, неблаг совет о всем умыслившая». Всюду «властям, учиненным от царя, не хотели повиноваться и покоряться,

но безначально желали и без строения, самовластно, разбойнически во всем жить, двигаться по своему хотению, безумно, как овцы безсловесные, без пастыря и без пастырского жезла, но сами собой водиться умыслили». «Скотолепно, зело суетный совет безголовая чадь в мыслях своих утвердила; всех начальников, избранных лучших мужей, нарочитейших, они хотели замучить и смерти предать, имения же их хотели сами наследовать. Но кто испишет подробно все творимые ими законопреступления». При таких условиях все «велероссийское царствие» кажется автору «некой вдове подобно», вдове, «которую собственные ее рабы разоряют и имущество ее расточают»,—и он заканчивает свои записки о смутном времени притчей «о вдовстве Московского государства».

Не менее широко разыгралась в эпоху смуты и та социальная борьба, какая шла вокруг самозванцев и питала их притязания на власть. Эту социальную борьбу живописал в начале смуты, в 1606 году, святейший патриарх Гермоген: «Ныне, забыв страх Божий»,—читаем в его грамоте этого года,—«восстал плевел и хочет поглотить пшеничные колосья; разбойники и тати и беглые холопы собрались в той же прежде-погибшей и осквернённой Северской Украйне, и, сговорясь с ворами-казаками, пришли в Рязанскую землю и в прочие города и к самой Москве, в Коломенское, и стоят и рассылают воровские листы по городам, велят целовать крест мертвому расстриге, а сказывают его, злодея, жива». Эти разбойники и тати, воры-казаки и беглые холопы собирались под знаменами первого самозванца, и под знаменами Болотникова, самого бывшего беглым холопом, и Тушинского вора, вышедшего на свое поприще из Пропойской тюрьмы и достигшего

чуть не до трона Ивана Грозного, и под знаменами тех 12 более мелких самозванцев, среди которых были три «царевича» с чисто-холопскими именами: Ерошка, Гаврилка и Мартынка. Эти же элементы толпились потом в Тушине, при дворе того кандидата на российский престол, которого люди враждебного лагеря так прочно заклеймили названием «вора», что оно сделалось почти его фамильным прозвищем, и пришлось после и сына его назвать «воренком»...

Эти же элементы правили потом и самой Москвой в лице торгового мужика, кожевника Ѳедьки Андронова, на которого (при Гонсевском) были все «правительство и вера положены»; именем польского короля этот русский Клеон правил Первопрестольной, а бояре московские, так привыкшие ею править, только жаловались: «мы тогда совсем не жили», и упрекали панов польских, поставивших их в это неприятное положение: «Уж и не было в худых худого, кто бы от государя вашего думным не звался». О самом Ѳедьке московские патриоты говорили: «сами видите, кто той есть, неси человек и неведомо кто: ни от царских родов, ни от боярских чинов, ни от иных избранных ратных голов; сказывают,—от смердовских рабов». И этот «смердовский раб», «таким именитым государством владеет, аки великим морем колеблет; что хощет, то творит, а никто ему не возбраняет». Автор «Новой повести», из коей мы приводим эту цитату, не соглашается даже звать его христианским именем: «Его окаянного и треклятого, по его злому делу не достоит во имя Стратилата, но во имя Пилата назвати, не во имя преподобного, но во имя неподобного, не во имя страстотерпца, но во имя землесъедца, не во имя святителя, но во имя мучителя и гонителя», и фамилию ему нельзя

дать по имени святого—Андронов,—а назвать его «по нужному проходу людскому—Афедронов». Так солон пришелся московским людям этот Ѳедька...

Приходилось однако все это претерпевать и ко всему этому привыкать. Как были шокированы московские бояре, когда в Туле, явившись встречать «истинного царя Димитрия» (первого самозванца),—они должны были уступить первое место на царском приеме казакам, и слышать, как эти казаки—все их же, в конце-концов, беглые холопы—их, московских бояр, Рюриковичей и Гедиминовичей, «лают и позорят», и царь все это позволяет и сам их, бояр, «наказывает и лает, яко прямой царский сын». Но как далеко ушла русская жизнь от этого, когда, всего через 3—4 года, в Тушине появлялись эти самые Гедиминовичи и Рюриковичи, и били гордым своим челом Тушинскому «пресветлому царскому величеству», чтобы принял он их на службу, а царю Василию приходилось принимать экстренные меры, чтобы не ушли туда же, в Тушино, следом за князьями Трубецкими и Черкасскими и бояре Романовы... Пришлось гордым своей породой княжатам и боярам примириться и с Ѳедькой и прикладывать руки к делам, «как им приказывали» польские паны и этот самый Ѳедька. «Приказывали руки прикладывать,—и они прикладывали»,—эпически рассказывается в древних хартиях.

Для того, чтобы все это стало возможно, нужно было, чтобы вся старая московская жизнь вышла из своих оснований. Это и было на самом деле. Московская смута была настоящей социальной революцией, «перебуровившей», по картинному выражению Костомарова, «все вверх дном», перевернувшей и перетасовавшей по новому все общественные порядки и отношения, была

кровавою революцией, со всеми ее обычными атрибутами, со всеми ее ужасами, кровью и заревом пожаров. В последовательном ходе этой революции сменялись лица, места, удачи и неудачи, но общая картина движения оставалась неизменно одна и та же; эту картину рисует летопись: «Собрались боярские люди и крестьяне, к ним же пристали и украинские посадские люди, и стрельцы, и казаки; и начали по городам воевод хватать и сажать в темницы, бояр же своих дома разоряли и животы грабили». Так было и при Болотникове, и при Тушинском воре, когда всюду побеждали низы, и города десятками отворяли ворота тушинским воеводам и целовали крест «вору». Особенно ярко сказалось это в Пскове, где «славные мужи, кипящие богатством», не могли удержать власти в своих руках, должны были «с тихостью и кротчайшие мирные словеса произносить к народу, лицемерствуя, да не растерзаны от сонма людей будут за неугодное мирови от них словес изречение»,—и это делали люди, «богатые влагалища имущие». Смута была не в одной Москве, она охватывала всю Россию. «И тако во всей России,—рассказывает Палицын,—изыде с мечем друг на друга, и не бысть такова беда и потом не будет». «И восстал каждый из дома своего,—повествует князь Хворостинин,—и повергли рала свои, и облеклись в броню, и препоясались оружием, и погубили великодушных в домах их, многим мукам и разным предали их».

О том, что творилось тогда в Российском царстве, лучше всего рассказывают негодующие страницы «Сказания» Палицына и «Временника» Тимофеева. У Палицына читаем: «Тогда многие многое несвойственное начали чинить: люди, юные честью и имениями, похотели широко и пространно величаться в суете мира

сего, и во всем подобились первым вельможам и сродичам царевым, — украшением злата, и сребра, и одежд, и коней, и ездил, и рабов множеством,—не токмо же таковые, но и от купцов сущие, и от земледелец. И толико гордение бысть, яко не познати во украшениях жен и чад, чьи суть: в блещаниях злата и сребра и бисерах ходяще, вси бо боярствоваху». «Всяк от своего чину, в какой зван был, выше начал восходить; рабы господами хотели быть, невольные к свободе перескакивали, воинственный чин боярствовать начинал; сильные же разумом от тех в прах вменяемы бывали, и ничего не по них не смели говорить. Царем же играли, как детищем, и всяк выше меры своей жалованья хотел». Тимофеев со своей стороны повествует: «Сопротивное древних царей уставным законам начало все во всех бывать: малое великих одолевать, юное же старых, бесчестное честных, рабы своих им владык; и купно всяко всечестное в бесчестное прелагаемо, бесчестное же, сему супротив, в честное, яко в ризу, не свойственно и чрез естество облечеся нелепотно. Яко же у свиньи в ноздрях усерязь (серьга) драгая видима, сице у недостойных в руках начальствия власть зрима; те, кому прежде повелевали другие, теперь сами повелевают им, и господин рабу предстоит; по всему подобно, яко нога венчаема, глава же смиряема, и дольнее яко на престоле выспрь, горне же долу бысть». Может быть, отдаленную связь с этой смутой имеют и отдельные рисунки лубочной картинки, имеющейся у Ровинского и относящейся, повидимому, к более поздним временам; но Стенька Разин и Пугачев—вот те нити, которые могут связать ее также с Болотниковым и Тушинским вором. Картинка эта—карикатура на всякую вообще социальную смуту, на необычную перестановку классов,

на всякое демократическое движение. На ней изображен целый ряд сцен такого, примерно, содержания: «Как бык не захотел быть быком, да и сделался мясником; когда мясник стал бить в лоб, то, не стерпя его удара, ткнул рогами в бок, а мясник с ног долой свалился,—то бык выхватить топор у него потщился; отрубивши ему руку, повесил его кверх ногами, и стал таскать кишки с потрохами». «Попугай мужика в клетку посадил, чтоб он говорил». «Овца, искусная мастерица, велит всем пастухам стричься». «Осел мужика погоняет за то, что не скоро он выступает». «Бабы осла забавляли,—посадив в карету, по улицам катали». (Ровинский, 1,242). Это могла бы быть прекрасная иллюстрация ко всем иеремиадам Палицына и Тимофеева.

Московская смута начала XVII века, подобно французской смуте конца XVIII, осложнилась внешней войной. Московской смутой легко было воспользоваться соседям, Польше и Швеции. Обе державы не прочь были поделить между собой Московское государство; план раздела Русской земли носился, можно сказать, в воздухе. Обе державы готовы были, если это возможно, завладеть Русской землей и целиком, не делясь ни с кем. События, казалось, вполне оправдывали эти планы; первый Лжедмитрий обещал польскому королю за подмогу Смоленск и Северскую землю, да Марине Мнишек—Новгород и Псков. И Тушинский вор должен был обещать Мнишкам русские земли, Северское княжество с 14 городами. А затем началось настоящее польское вторжение: поляки были и в Тушине, и под стенами Троицкого монастыря, рыскали и кругом Москвы; московским людям начинало казаться, что не Тушинский вор водит с собой поляков, а они его с собою возят. Потом началась форменная война с Польшей; король

Сигизмунд осадил Смоленск и сумел добиться московской короны, если не для себя самого, то для своего сына: 27 августа 1610 года Москва торжественно, в Успенском соборе, присягнула на верность Владиславу. При этом поляки открыто заявляли, что король вмешался в московские дела потому, что сами московские люди били ему челом об этом, просили его «сжалиться над гибнущим государством», и вот он явился сам, «своей головою», чтобы «в Московском государстве внутреннюю войну унять» и тем это государство «успокоит». А секретно, своим сенаторам в Варшаву, польский король писал, что «ему открывается путь к расширению границ республики и даже к совершенному владению целой московской монархией». Это «совершенное владение» целой московской монархией, казалось, осуществилось, когда в ночь с 20 на 21 сентября 1610 г. Жолкевский с польским отрядом вошел в самую Москву, а месяц спустя, 29 октября, в Варшаву был ввезен сведенный с престола пленный московский царь Василий Шуйский, и король допустил бывшего московского государя к своей руке.

Так умела воспользоваться московской смутой Польша. Не хотела отстать от нее и Швеция. Шведский король Карл IX с самого начала смуты предлагал свою помощь то той, то другой московской партии; он готов был помогать и первому самозванцу против Годунова, и Москве против самозванца, и Шуйскому против тушинцев и поляков, и когда Шуйский от этой помощи отказывался, говоря, что справится с врагами своими силами,—предостерегал его, что этим он навлечет на все свое государство гибель, и на нем одном будет вина за эту гибель. Точно так же, как и поляки, шведы выставляли на вид московским людям все бес-

корыстие своей поддержки, говоря: «Шведская помощь будет совершенно бескорыстна; шведы готовы прийти вам на помощь только из сочувствия к горестной вашей судьбе». Но своим генералам Карл предписывал содержать полки на московский счет и стараться приобрести все земли, уступленные Москве при Ѳедоре Ивановиче, и, сверх того, еще занять Новгород,—«все равно, приятно ли это русским или нет». «Нам всего важнее собственная польза; надо воспользоваться русской смутой для земельного обогащения шведской короны». Когда, наконец, Шуйскому пришлось принять шведскую подмогу, и Скопин заключил договор об этом с Делагарди, в договоре этом было сказано, что московский царь отказывается за себя и за всех детей своих и наследников от всяких прав на Ливонию, уступает шведам Корелу и обязывается шведам «полное воздаяние воздать: чего они у него ни попросят,—города, земли, или уезда». Но и шведская помощь не спасла дела Шуйского, и в Клушинской битве решилась его судьба. Тогда шведы сами захватили Новгород, новгородцы должны были присягнуть одному из шведских принцев, как раньше того Москва присягнула Владиславу; эту клятву новгородцы должны были свято хранить, «хотя бы Московское государство (чего не надеемся) на то и не согласилось». А шведские воины, ознаменовавшие себя успехами и мужеством в России», должны были получить за свои заслуги «достойнейшие награды: имение, большое жалованье и поместья».

Захват Московского государства врагами, или раздел его между ними был, таким образом, реальнейшей и серьезнейшей опасностью, с которой необходимо было считаться. Это была та же опасность, которая после разразилась и над самою Полыней, и в разные вре-

мена грозила и революционной Франции, и Турции, и Персии, и Китаю. Судьба России могла бы быть совсем иною, если бы эта опасность осталась неустраненной.

Вся эта сложная борьба, внутренняя и внешняя, тяжело отзывалась на русской жизни. Авраамий Палицын оставил нам яркую картину тех ужасов, какие приходилось переживать московским людям в эпоху этой двойной борьбы—с внешним врагом и с внутренней смутой; при чем оказывалось, что русские тушинцы бывали тяжеле иноземцев. «Тогда во святых Божиих церквах»,—пишет Палицын, «коней затворяли, и псов в алтарях питали; освященные ризы не только на потребу свою раздирали, но и на обувь продавали, и дорогими багрецами свои афедроны покрывали. Иноков мучили, заставляли на себя работать, варить пиво, кормы готовить, стада пасти; иереев у мельниц и у возов морили, и дрова рубить посылали». «И заставляли их на блудниц работать, и воду им носить и дрова, и порты сквернавые мыть на них, и у коней их работать все повеленное им. И старые, благолепные мужи у ног блудниц валялись, как сиротки, и ругались им они, и срамные песни петь велели, и скакать и плясать, и непокоряющихся смерти предавали». «Непокоряющихся их злым советам, всяк возраст и всяк чин, с башен высоких долу метали, с брегов реки в глубину с камнем ввергали, иных, развязав, из луков и самопалов расстреливали, иным голени пополам преломляли; детей у родителей пред очами в огонь кидали и о пороги разбивали, или на копья воткнув, пред родителями носили... И матери своих младенцев, плачущих от глада и жажды, в неведении задавляли, дабы их гласа ради самим не погибнуть: бегая с ними, захватывали им рты,

и после обретали их мертвыми... Божии образа подстилали под скверные постели, и на них блудом занимались». «Где народ добрый христианский»,—патетически восклицал после всех этих ужасов Палицын;—«где иноки, многолетними сединами цветущие? Где инокини, невесты Христовы, добродетелями украшенные? Где всякое благолепие Российское? Не все ли до конца разорено и обругано злым поруганием? И не все ли лютыми и горькими смертми скончалися?».

«И переменились тогда жилища человеческие на зверские; дикие бо медведи и волки, и лисицы и зайцы на градские и на пространные места перешли, и птицы, слетевшись на великие пищи, на трупы человеческие вселились; и звери и птицы в главах и в чревах и в трупах человеческих гнезда содеяли. Горы могил тогда явились—побиенных по правде и не по правде ратовавших». «И крылись тогда человеки в дебри непроходимые, и в чащи темных лесов, и в пещеры неведомые, и в воде между кустов отдыхая, и плачась к Содетелю, дабы ночь их объяла и мало бы отдохнуть на суке. Но ни нощью, ни днем бегающим не было покоя и места к сокрытию и к покою; вместо темной луны многие пожары поля и леса освещали ночью, и никому нельзя было двинуться с места своего: человеков, аки зверей, из лесов выходящих, ожидали. И оставили тогда злоден за зверьми гоньбу, и гонялись за своею братией, и со псами, как за лютыми зверями, пути их пытая».

Все это завершилось падением самой Москвы, сделавшейся добычей пламени на Страстной неделе 1611 г.) когда ее почти всю сожгли засевшие в ней поляки. Московское государство, казалось, погибало. Оставалось только плакать и стонать о его конечной гибели.

«Кто не восплачется и не возрыдает,—пишет, дойдя до этого момента в истории смуты, Палицын,—и теплых слез источники не излиет о великом сем царствующем граде, иже прежде был велик и превысок, непобедим и прекрасен и всем прелюбезен, во очию зрящим его?» «И како толик предивен бысть, и во един час падеся, огнем и мечем потреблен бысть?!»

К этому времени относится и дошедший до нас «Плач о пленении Московского государства», составленный неизвестно кем. «Откуда начнем плакать,—увы!—о толиком падении преславной, ясносияющей, превеликой России? Которым началом воздвигнем тризну слез рыдания нашего и стонания? О, коликих бед и горестей сподобилось видеть око наше! Ох, увы, горе! Какой падеся толикий пирг благочестия, како разорися богонасажденный виноград? Кто из правоверных не восплачет, или кто рыдания не исполнится, видев пагубу и конечное падение толикого многонародного государства, христианскою верой исполненного, и яко солнце на тверди небесной сияющего, и светом илектру подобящегося! Весь благоприятный о Христе народ весть высоту и славу великой России, како возвысися и колик страх бысть бесерменам и германам и прочим языкам. Чего же ради падеся превеликая Россия?»

II.

«Чего же ради падеся превеликая Россия?»—Этот вопрос должны были задавать себе московские люди, считавшие смуту, концом и гибелью Московского государства. Расшатался московский политический порядок, был опрокинут вверх дном привычный общественный строй, на карту была поставлена независимость русского го-

сударства. Всему этому должны были быть свои причины; предстояло открыть эти причины, определить. Очень рано русские люди занялись решением этого вопроса. Первое решение было подсказано церковью, православной верой; в дела замешаны были, с одной стороны, божественные, с другой—дьявольские силы. Случилась такая беда «Божиим попущением», «дьявольским навождением». «Божиим попущением учинилось над русской землей неудобь-сказаемая напасть», повествует патриарх Гермоген. «Устрелен бысть расстрига от дьявола, окаянный; виде в того священномниха сатана, и обещевает ему царскую власть поручить. Диаволом он водим и наставляем», объясняет в своей повести о смуте князь Шаховской. Это первое объяснение связывается с другим: если Бог попустил на Русскую землю такую напасть, если дьяволу можно было водить за собой русских людей, то это потому, что они согрешили пред Богом, позабыли страх Божий. После этого оставалось только установить, за какие же грехи послана Русской земле эта кара Божия и в чем было это забвение страха Божия. Гермоген говорил просто: «за бесчисленные наши всенародного множества грехи». Шаховской указывает, что и Борис, и расстрига погибли оба «за грехи свои», так как ни один грех не остается у Бога без наказания. Но у Авраамия Палицына эта простая мысль развертывается уже в целую картину грехов русского народа; определить эти грехи, установить полный их список—такова главная цель троицкого келаря. «И ныне всяк возраст да разумеет и всяк да приложит ухо слышать, каких ради грех наших послал Господь Бог нам праведное свое наказание».

Авраамий знает очень хорошо, почему именно «падеся превеликая Россия». Он насчитывает до 20 грехов,

больших и малых, за которые отдал Бог Русскую землю на погубление, покарал ее смутой, и голодом, и разорением. Среди этих грехов России есть, например, такие: чтобы умолить Годунова принять царство, когда он от него отказывался, поднимали икону Божией Матери, и «сим образом, к нему же цари со страхом многим прибегают,—тленного человека увещевают». Ради Бориса «толик путь шествовала Царица». «Двигнут был той образ нелепо, двигнута же Россия бысть нелепо». Во время голода при Борисе пекли просвиры из ржаной муки, а не из пшеничной:—«Подателю всех благ рожь вместо пшеницы приносили». «Не гордости ли се исполнено и небрежения о Боге? Что от нас Господь требует? Не Того ли суть вся?» После свержения расстриги, перед тем замышлявшего, как ему погубить московских бояр,—не возблагодарили, как следует, Бога: «Весь народ московский от радости дадеся пьянству, а еже благодарение о сих Господу Богу воздати,—нигде не обретеся ни в ком, и молебное славословие о такой победе не воздадеся. Мы, россияне, паче волов упрямы обычаем: тии бо ясли господина своего разумеют и питающему повинуются, мы же Промышляющего нами небрежем». Многие строят святые церкви, но «не в честь Господу» их устраивают, а «в смех человекам»: сами живут богато, а для церкви скупятся. «Трапеза их от лихоимений златыми и серебряными сосудами покрыта бывает, престол же Божий нищетнейшими крашении Российских тканями облечен. Сами питаются из златокованных и серебряных сосудов, в созданных же ими церквах перен из осиновых и березовых сосудов душу освящают».

Наряду с этими грехами Авраамий указывает множество других. На первом месте стоит тут убиение царевича Дмитрия, которого «враги и ласкатели, нехотящ-

го, отослали в вечный покой»,—«се первый грех да разумеется; также по сем и другий: ни во что положила сию кровь неповинную вся Россия». Затем судьба братьев—бояр Романовых, их опала при Годунове и «всего мира безумное молчание, еже о истине к царю не смеюще глаголати о неповинных гибели». В обоих случаях—преступное попустительство всей России. После этого Авраамий чертит полную обличений, широкую и яркую картину царящей на Руси социальной неправды, картину жизни имущих классов и жестокой эксплоатации ими «меньших их братьев». «Тогда многие ко второму идолослужению обратились, все имущие сребро и злато и сосуды и одежды отдавали и собирали в житницы свои все семена всякого жита, и прибытков восприняли десятерицей и вящше. И во всех городах по всей России великое торжество сребролюбное к бесам было. Многие имущие к разделению с братией не преклонялись, но, зряще по стогнам от глада умерших, ни во что вменяли». И это в эпоху страшного голода при Годунове, когда «не столько бревен и дров, сколько мертвых наших тел по улицам на возилах возили». «В те времена многие имущие глаголали к просящим: не имамы ничего»; а после, во время разорения от иноземцев и от своих, «обретеся бесчисленно всякого хлеба, и давние житницы не истощены, и поля скирд стояли, гумна наполнены за 14 лет;—се убо да разумеется грех всей России, чего ради от прочих язык пострада: во время бо искушения гнева Божия не пощадили братию свою, и жита и блага свои берегли для себя и для врага-человекоубийцы; и как мы не пощадили, так и нас не пощадили враги наши». Тогда же росло холопство: «многие из вельмож многих человек в неволю к себе ввели служить, иных ласканием и дарами в домы

свои притянув, и написание служивое (о холопстве) силою и муками брали, иных же винца токмо испить взывали,—и по трех и по четырех чарочках достоверен неволею раб бывал тем». «Во время же великого глада сего, озревшись все, яко не можно питати многую челядь, начали рабов своих на волю отпускать, и иные истинно, иные же лицемерно (без документов о свободе), токмо из дома изгоняли. Многие же и имущие чем пропитать, но восхотели многие богатства стяжать, того ради не только челядь свою отпускали, но и родных и ближних своих не пощадили, и гладом кончающихся презрели». «Многие мы и до днесь в скверне лихоимства живем и о кабаках печемся, чтобы весь мир соблазнить, и граблением, и посулами церкви Божии строим, в судилищах же и на путях и у врат наших всегда—по образу Божию создания (т.-е. люди) со хранителями нашими Ангелами Божиими плачут и рыдают, дабы на милосердие преклонились. Но никак тех гласа не послушаем, и в лицо и в перси тех бить повелеваем, и батогами, иже злы зле, кости их сокрушаем, и во узы, и в темницы, и в смыки, и в хомуты тех присуждаем». «Нескверную Божию церковь оскверняем скверными прибытками, от лихоимства красим церкви Божии. Многие же и колокола великие сливают, да гласом тем славны будут, но выше тех колоколов звону восходит в уши Господа Саваофа голос бедных, и нищих, и обидимых ими, в суде неправедно осужденных по посулам». Так обличает русских людей Авраамий. И заканчивает он свое «Сказание» патетическим воззванием: «О, ненасытимые имением! Помяните сия и престаньте от зла, научитеся, добро творите. Видите общую гибель смертную? Избегайте сего, дабы и вас самих, величавых, не постигла также лютая смерть». Но ни к чему все эти

увещания: «видели москвичи гибель свою, и на покаяние не обратились, но сребро собирают любезно». «И того ради гнев Господень не преста». Авраамий рисует в ярких красках ужасы внешней войны и внутренней междоусобицы и восклицает: «Что же сея беды страшнее?» И все это потому, что «сквернее мы иноверцев, пока не обратимся».

Целым рядом причин и условий объясняет дьяк Тимофеев происхождение московской смуты. Во время смуты «исчез в рабах естественный страх к владыкам»; это объясняется поведением самих «самодержавных наших»: они всеми нами обладали, от века рабами своими, «пока сами держались повелений, данных Богом, пока перед Ним в конец не согрешили». «Предержатели наши поелику начали древние благоуставления законные и отцами преданные превращать и добрые обычаи на новосопротивные изменять, потолику и в повинующихся рабах естественный страх оскудевал, исчезая». «Ибо восхотели обдержатели уши свои сладко преклонить к ложным шепотным глаголам», и «языками своими убивали люди, яко мечами», и «возносились зело над правдою»: это—«мати всему злу бысть». И Иван Всегрозный подготовил смуту своей опричниной: «всю землю свою, яко секирою, наполы некако разсече», «и сим земли всей велик раскол сотвори». И Василий Шуйский,—«внезапно и самодвижно, без воли всей земли, царем поставися», и этим всеобщее шатание всей земли произвел: «его скоропомазанием все люди о нем преткнулись», и «оттуда в Руси все зло начало свое приняло»; «колебанием о царе распыхались люди, и вспенилось житейское море неукротимо». Но шатание, колебание и раскол всей земли вызывались и другими силами: «мы сами яростный огнь возжгли» и «сами всю землю на себя восколебали»;

«сами на себя восстали, и разделились разделением злым, и приразились иноплеменным сонмам, соединились с другими языками», «ради собрания и приложения прибытков с обладающими нас чужеверными сложились, враждебных руки советами своими наполнили доброхотно, корысть свою паче веры почитая». А «без наших с ними сложений они копья свои сломили бы и щиты бы стерли, и побед своих соделать не могли бы», «если бы не было среди нас изменников и предателей...» Но и помимо этого у нас «древняя крепость от всех отъяся, все убо крепостью оскудели в конец, старые стали младоумными, и вместо разума токмо седину одну имеют и волосам долгость; и приходившие к нам из стран иноземных послы многие и купцы ползское естества нашего пременение прилежно рассматривали и крепко проразумели про нас, яко несть мужества в нас отнюдь никакого, ни в ком,—и сего ради они, на нас нашедши, всю землю растлили, больше даже, чем хотели»; а содеялось это все «за грехов чрезмерие». Не находит Тимофеев у своих соотечественников и достаточного гражданского мужества: «мужественной крепости не было в нас издавна, и не смели мы никогда ни о каком тайномыслии многолюдного собрания составить, чтобы возбранить что-либо, неугодное Богу и человекам, нововводное что и чрез законы бываемое в обладателей наших повелениях, чтобы возразить неподобным их начинаниям». Так от «немужества нашего» «умолчали мы и не обличили» убиения Дмитрия царевича,—и весь наш царский род «за грехи наши искоренен был». Так и Шуйский,—тот самый, который был лжесвидетелем в деле царевича Дмитрия,—стал царем «попущением всей России». Нету в нас ни согласия, ни единства, но, напротив того,—«несогласное разногласие и небратолюбное рас

стояние: как град от града отстоит, так и мы друг от друга любовным союзом разделены, к себе каждый свой хребет обращает,—одни к востоку зрят, другие же к западу». «Но сия наша разность многу на ны врагам нашим подаде крепость». Вот почему «не чуждые земли нашей разорители, но мы сами ее потребители».

Начертав таким образом картину реальных причин, объясняющих, «почему падеся превеликая Россия», Тимофеев прибавляет к этому длинный список разных грехов России,—список, не только объясняющий, но и оправдывающий ее падение, ибо каких только грехов не находит у своей родины Тимофеев! «Взыщем в себе и потщимся усердно изложить, от каких разлилась грехов земля наша?» спрашивает автор: «не бессловесного ли ради молчания?»—«Согрешили мы от главы до ноги, от величайших до малых, от святителя и царя, и от иноков и святых». Затем идут: «клятвопреступная дерзость в клятвах, богомерзкая и пребаянная гордость безумная, кривость премногая, растворенная мздою, винопитие безмерное с чревобесием, сребролюбие несытное, и лихв ненаполняемые прибытки, и мзды незатворяемые влагалища, числа не имущие, и братоненавидение самолюбное, и чужого имения восхищением любление, и ризное чрез меру не в леноту красование, и со уст сквернословное изношение». «Зла земля не терпяще, стонет о сем; и Заступница наша, в бедах крепкая Помощница (Богородица) отвращает лицо свое от нас, гневаясь и негодуя; всех зловерных язык исполнили мы грехами нашими меру, и больше того, и одним только лучше их явились, что к иконам имеем почесть и посты разорить не позволяем». «От бесстрашия Божия, от окаменения сердечного» и все страсти и ужасы, нас постигшие: «сего ради на нас изыде во гневе Бо-

жий ответ». Русская земля заслужила сама собою гибель,—таков вывод, к которому приходит в конце концов Тимофеев: она и недостойна была чего-либо другого. Вот почему и «падеся превеликая Россия».

Полна обличений и «Повесть дивная и зело полезная нынешнему роду лукавому и непокорливому» о видении, бывшем некоему святому мужу. «Видел, рече, чудное видение, зело ужаса исполненное. Видел двери церковные отверстые, и Господа, седящего на престоле, ангелами окруженного, и Пречистую Богородицу, нашу Заступницу, и Предтечу Крестителя, и лики святых. И видел святую Богородицу, молящуюся Сыну своему и Богу нашему, и кланяющуюся Ему до земли. И слышал глас умильный Пречистой Богородицы: —«О, Сын мой и Бог мой! прими молитву Матери твоей, пощади людей твоих, ибо многие из них хотят прийти в покаяние. Отврати от них праведный гнев твой, помилуй их по великой твоей милости!»—И слышал я глас преслад-кий Господа, глаголющий к Матери своей:—«О Мати моя вселюбезная! многажды твоих ради молитв отвращал я праведный гнев мой от них, но зело стужают мне злобами своими и лукавыми нравами; понеже церковь мою оскверняют злыми своими праздными беседами, и мне ругатели бывают, и брады свои постригают; правых насилуют, грабят чужие имения, и иные многие скверные дела творят, их же ненавидит дух мой святой».—Богородица же слезы точит и снова молит, и все святые с Нею: «Помилуй, Владыка, род христианский, да обратятся и престанут от злоб своих и в покаяние приидут. Ты бо, Владыка, милостив и принимаешь кающихся».—И воззрел Господь на Матерь свою, на Предтечу и на всех святых, и испустил глас свой пресладкий:—«О Мати моя, не стужай мне, и ты, друже

мой Креститель Иване, и все мои святые! Не рех ли я вам, яко несть истины во царе и в патриархе, ни во всем священном чине, ни во всем народе моем, яко не ходят по преданию моему и заповедей моих не хранят. Многажды хотел я помиловать их, о Мати моя, твоих ради молитв, но раздражают утробу мою всещедрую своими окаянными и стыдными делами; и сего ради, Мати моя, изыди от места сего, и все святые с Тобою; Аз же предам их кровоядцам и немилостивым разбойникам, да накажутся малодушные и придут в чувство, и тогда пощажу их».—И еще глагола Богородица:—«Ужели презрел ты Матери твоей прошение, о Сыне мой, прекрасный Свете мой?»—Господь тогда рече к Ней тихим голосом:—«Тебе ради, Мати моя, пощажу их, аще покаются. Аще ли не покаются, то не имам милости сотворить над ними».

«Несть истины в народе моем»,—таков суровый, беспощадный приговор, произносимый самим Богом над «превеликою Россией».

III.

Произведем же теперь и мы, по стопам Тимофеева и Палицына, анализ Московского государства, чтобы выяснить, каких ради грехов «падеся превеликая Россия», за что покарал ее Бог «неудобьсказаемой напастью».

В фундамент этого государства были заложены два класса, всех ниже стоявшие на русской общественной лестнице: холопы и крестьяне. Слившиеся впоследствии, при Петре Великом, в один разряд «крепостных людей», эти два класса в московские времена были еще разделены, и судьбы их в то время были различны. Холопы XVI века были приблизительно в том же по-

ложений, в каком двумя столетиями позднее, при Екатерине, оказались помещичьи крестьяне: они служили и во дворе хозяина, работали и на барщине, платили оброки, снаряжались с ним на войну, в поход. В полной мере действовало правило: «по рабе холоп и по холопу раба; по приданой грамоте холоп, по духовной холоп, и по сельскому и городскому ключу холоп». Действовало и другое правило, записанное в Судебнике: «если господин огрешится, убьет своего холопа, то наместникам с господина ничего не брать». Духовенству по церковным уставам нельзя было владеть холопами; в монастырских вотчинах поэтому работали не холопы, а «детеныши»,—дети монастырских крестьян, бобыли, у которых отцы и матери были полонены врагами, круглые сироты, которым монастырь дал приют, нищие люди, разоренные войной, «обмолодевшие», как их называли, и тоже взятые за себя монастырскими властями. Так же, как и холопы, детеныши не платили казенных податей. Под другим названием, это было в сущности такое же холопство.

Все это холопство в XVI веке не только не падало, но росло и расширялось, захватывая в свой круг все новые и новые элементы. Рядом с обыкновенным, полным (обельным) холопством, развивалось еще новое, кабальное холопство, рабство за долги, с обязательством работать за резы, отрабатывать проценты, с невозможностью, таким образом, когда-либо выплатить самый долг. При царе Грозном росту кабального холопства ставились еще некоторые преграды,—по царскому Судебнику заем по кабале не мог быть выше известной суммы; по указу 1559 года заемщиком не мог быть малолетний,—не достигший 15-летнего возраста. При царе Феодоре Ивановиче положение кабальных, напротив, из-

менилось к худшему. Указами этого царя они впервые были названы официально именем холопов, им было запрещено выкупаться на волю, даже если бы они могли это сделать,—«денег по тем кабалам у тех холопей не имать, а выдавать их тем господам в службу до смерти» (до смерти господина). Так как было выставлено новое требование: не держать кабальных иначе, как по кабальным записям,—то все владельцы бросились брать со своих кабальных записи; Палицын свидетельствует, что для этого прибегали даже к не совсем легальным средствам, спаивая людей и вымогая от них записи после четвертой чарки.

При том же царе Ѳедоре Ивановиче появился еще новый разряд «вольных холопей»; этим странным названием обозначались люди, садившиеся во дворы к господам на службу без крепостей, без каких-либо записей; это были вольные рабочие, ничего даже не задолжавшие. При царе Иване на них велено было, в случае их ухода, суда не давать и к господам не возвращать, «потому что они служили добровольно, а если что (у господ) пропадет, то сами у себя потеряли: не верь добровольному человеку и не держи его без крепости»,—прибавлял наставительно царский указ. В 1597 году, при царе Ѳедоре, велено было, напротив, «на тех вольных холопей кабалы давать и челобитья их не слушать», потому что «тот человек (господин) того добровольного холопа кормил и одевал и обувал»; требовалось для этого лишь одно: чтобы такой добровольный холоп прослужил хозяину не менее полугода: достаточно было 6 месяцев проработать на кого-либо вольному человеку, —и он обращался в кабального холопа.

Не надо таким образом, говоря о московских людях XVI века, забывать, что наши предки той эпохи были

настоящие рабовладельцы, что на рабовладении основано было все тогдашнее русское хозяйство, весь уклад старой московской жизни.

Крестьяне, «хресьяне», как их звали на Руси, «сироты», как они сами себя называли, были еще в начале того пути, который должен был их привести, к XVIII веку, к положению, ни в чем не отличавшемуся от рабства. Первым моментом этого пути было обезземеление крестьян, окняжение и обоярение крестьянских земель в государстве; это окняжение и обоярение к XVI веку было уже совершившимся фактом в доброй половине страны; крестьяне-собственники оставались главным образом на черносошном севере. Но и туда, в Заволжье, и в самое Поморье проникали новые порядки, и там выростали боярские вотчины, монастырские владения; и местные крестьяне должны были, по рассказу житий, приходить к святым отшельникам «с оружием и дреколъем, и твердить им: почто в нашей земле монастырь построил? или хочешь землями и селами нашими обладать?»—и сгонять со своей земли то того, то другого святого старца; московским государям приходилось посылать своих людей, защищать старцев от местного населения и обеспечивать им владение захваченными крестьянскими «селами и нивами». Вторым моментом крестьянского закрепощения была их задолженность владельцам земель, на которых они садились мелкими арендаторами. Лишившись своих земель, крестьяне скоро растеряли и весь нужный для хозяйства инвентарь и не могли обойтись без ссуды,—брали и орудия, и семена, и скот и должны были потом платить и за это все, и за «заемное жито и серебро», и платить с процентами,—а процент тогда был высокий, на пять шестой, т.-е. 20% годовых,—и еще за избу, «за пожи-

лое», при чем в 4 года погашалась такими платежами вся стоимость крестьянского двора. Владельцы земель, которым нужны были эти мелкие съемщики земли, приносившие им оброки, всеми силами старались запутать их в долговых обязательствах, чтобы те не ушли от них, не оставили их без оброков. Но крестьяне и сами вовсе не охотно меняли место, не охотно бросали насиженные места и переходили к другим владельцам; многие из них оставались на одном месте по 50 и по 80 лет, из роду в род, становились «тутошними людьми», «старинными», «старожильцами»; разумеется, этим спешили воспользоваться владельцы земель, объявлявшие, что не выпустят от себя людей, так давно у них засидевшихся: крестьяне те—их старожильцы, искони их вечные. Старожильство было третьим моментом крестьянского закрепощения. Из всего этого выростали те новые, крепостные отношения, какие находим в порядных грамотах и в монастырских уставных книгах XVI века: «А живучи мне в том селе, землю пахать и огороды городить, и двор починивать, изделье делать, и оброк платить, дрова возить и хоромы ставить,—приказчика во всем слушать, и на дело ходить на солнечном восходе, как десятский весть подаст». Но барщина не играла первой роли среди крестьянских повинностей: на барщину крестьян требовали, сравнительно с позднейшим, очень не часто,—один или два раза в неделю, или даже 8 раз в целый год. Главное дело были крестьянские оброки, арендные платежи за землю и проценты за ссуды. «Оброк давать хлебом на год по 4 четверти ржи, да 4 четверти овса, да на Госпожин день по сыру по сухому, а не люб сыр—и за сыр по 2 деньги, да в осень на Покров 50 яиц, по хлебу да по калачу».

Все это было однако частное дело,—между крестья-

нами и владельцами земли,—и на юридическое положение крестьян не влияло. Они сохраняли свободу перехода, ограниченную только Юрьевым днем, да условием уплаты пожилого (за двор) и повоза,—«а опричь того никаких пошлин нет»,—прибавлял Судебник Ивана III. В Царском Судебнике Ивана IV перечислены и права крестьян, как свободных людей: они могут быть свидетелями на суде, и их честь охраняется судом так же, как и честь лиц других званий, только по иной расценке: за бесчестье гостей (высшего разряда торговых людей)—50 р., за бесчестье людей посадских—5 р., за крестьянское бесчестье—1 р. После целой эпидемии крестьянских побегов и свозов при царе Иване, после того, как в самый разгар Ливонской войны весь почти московский центр запустел и помещикам стало «служить не с чего»,—принят был при царе Ѳедоре и при Годунове целый ряд мер, стеснявших и своз и побеги крестьян, прикреплявших их к тем владельцам, за которыми они были записаны по писцовым книгам, и дававших для сыска их 5-летний срок, а в Московском уезде вовсе отменявших крестьянский своз;—и тем не менее, и в Судебнике царя Ѳедора, и в указах Годунова старое право перехода не только не отменялось, но еще подтверждалось: «которые крестьяне похотят из-за кого итти в крестьяне же, и те бы люди промежь себя отказывали и возили бы в Юрьев день, и люди чтобы крестьян выпускали из-за себя со всеми животами безо всякой зацепки. А кто учнет крестьян из-за себя не выпускать, тем быть от нас в великой опале». Московское правительство XVI века не сдалось еще окончательно перед натиском земельных собственников, вотчинников и помещиков, нуждавшихся в прикреплении к ним крестьян—арендаторов и оброчников,

как сдалось оно после смуты, в эпоху «Соборного Уложения» Тишайшего царя, когда были всецело отменены всякие урочные года для сыска беглых крестьян и разрешен их сыск бессрочный, и всякие крестьянские переходы запрещены под угрозой жестоких наказаний, «чтобы другим было не повадно».

В положении, близком к положению сирот и холопов, были низы остальных классов русского населения, служилые и посадские низы. Это были стрельцы, пушкари и другие приборные люди, несшие на своих плечах нелегкую службу по обороне южных границ со стороны степи, но землей наделенные не наравне с помещиками, а наравне с крестьянами, и обязанные так же, как они, ходить на барщину, пахать царскую запашку, сеять хлеб для казенных житниц. В торговых посадах,—а таких посадов было уже при Грозном довольно много,—были на ряду с богатыми гостями и купцами мелкие люди, лавочники, ремесленники, разные квасники, бражники, калачники, колпачники, сковородники и мошенники (изготовлявшие мошны, т.-е. кошельки для денег); все они несли царское тягло, кормили своими прибытками царскую казну, несли в царскую казну серебро, а свои сундуки с трудом набивали медью.

Из всех этих элементов слагался тот фундамент, на котором строили свое благополучие государевы слуги, гости и богомольцы. И первый этаж этого здания составляли бояре с княжатами, слуги вольные государя, из коих многие сами недавно еще были государями, а теперь окружали московского государя и в походе, и при дворе, и в думе, и никак не хотели забыть своих старых удельных прав—права отъезда и совета. Но значение их падало, хозяйство их разорялось, многие из них были в долгу, как в шелку, и должны были за-

кладывать свои вотчины, и не только вотчины, но и собственные шубы и платья своих княгинь, закладывать монахам, этим «жидовинам-ростовщикам», как их называл князь Курбский, сам не раз должавший им, и денежным тузам из богатых купцов, а иному князю приходилось даже для поправления дел решаться на неравный брак, жениться на дочери купца Протопопова, и 13 лет жить в доме у тестя, пить и есть у него и на его счет снаряжаться на государеву службу. Все это было задолго еще до опричнины Грозного; опричнина нанесла князьям и боярам новый сильный, но все еще не последний удар: им пришлось покинуть насиженные отцовские и дедовские гнезда и уйти из покойного центра на тревожные военные окраины, променять вотчины на служилые поместья, а скольким из них, внесенным и невнесенным в царские синодики, пришлось и головы свои сложить в борьбе с царем и его опричниками! «Высшая знать сравнена теперь с остальными», говорил Флетчер после царствования Грозного. За опричниной последовали еще новые удары царя-опричника Годунова, о котором гордые польские паны отзывались, что «тяжело было при нем боярам», и о котором с неменьшей горечью могли потом вспомнить родоначальники династии Романовых, на себе испытавшие все превратности судьбы,—с доносами, ссылками и постриженияими. К концу XVI века боярство было уже «зяблым деревом», от которого нечего было ждать плодов. Флетчер встречал уже на Руси людей княжеского рода, «готовых служить простолюдину за 5 или 6 рублей в год (за 125—150 рублей на довоенные наши деньги).

Другой общественной силой, унаследованной от времен удельных, было черное духовенство, с целой армией «непогребенных мертвецов», иноков с их духовными

владыками—игуменами и архиереями. Эта черная армия собирала всюду, где могла, земли, деньги, стада и ризы и заводила образцовое хозяйство, с сотнями сел и деревень, с тысячами детенышей, с большими запашками, с обширной хлебной, соляной, кожаной торговлей, дававшей десятки тысяч в год дохода, с настоящими банкирскими конторами под низкими сводами святых обителей, со всевозможными кредитными операциями, с выдачей денег под залог движимого и недвижимого имущества, с каменными кладовыми для хранения чужих ларей, коробов и сундуков с платьем и с оружием, с несгораемыми железными ларями и ларцами, с хранящимися в них кабальными записями и другими документами. Впереди всех стояли три монастыря: Троицкий Сергиев под Москвой, Кириллов на Белоозере, Соловецкий на Белом море. Были и архиерейские кафедры, владевшие десятками тысяч десятин земли, втягивавшиеся в льняную и в хлебную торговлю. И все это цветущее монастырское хозяйство не только не падало, но наоборот росло и ширилось, достигнув к концу XVI века новых успехов, умножив свои владения в два и в три раза; один Троицкий монастырь приобрел вновь свыше 500 селений. И это, несмотря на жестокие нападки на монастырские владения со стороны княжат и бояр, завистливыми глазами взиравших на рост церковного богатства, и со стороны их идейных союзников—нестяжателей, с такими крупными силами во главе, как «великий старец» Нил Сорский, Васпан Косой и ученик Савонаролы Максим Грек, и наконец со стороны таких бесцеремонных светских стяжателей, как Иван III, произведший дважды секуляризацию в новгородских владениях, и как сам Иван IV, ограбивший со своими опричниками новгородскую цер-

ковную, монастырскую, архиерейскую и софийскую казну, а с Пскова потребовавший дани крестами и колоколами, книгами и церковной утварью, пытавшийся несколько раз отобрать у монастырей и у самого митрополита их имения.

Черное духовенство устояло в борьбе, которой не выдержало боярство, и сохранило и расширило свои богатства, и закрепило еще свои права на них, заявив устами иосифлян, на соборах 1503, 1551 (Стоглавом) и 1580 года, что необходимо «неподвижно соблюдать право собственности монастырей на принадлежащие им села и земли», что «святители и монастыри земли держали и держат, а отдавати не смеют и не благоволят, понеже все таковые стяжания церковные—Божии суть стяжания, и мы сия ублажаем и похваляем и содержим», и соглашались только, и то на словах, отказаться от новых земельных приобретений, за помин души или как-нибудь иначе, но не от денежных вкладов взамен этих вкладов земельных. «Если у монастырей сел не будет, то как постричься почетному и благородному человеку?» вопрошал по этому поводу сам глава иосифлян, Іосиф Санин: «А если не будет почетных и благородных старцев, то откуда взять людей в метрополиты, архиепископы и епископы и другие церковные власти? Итак, если не будет почетных и благородных старцев, то и самая вера поколеблется». Церковная партия иосифлян господствовала и при дворе, вытесняя оттуда нестяжателей, отправляя их в ссылки и заточения; к иосифлянам принадлежали и московские святители Даниил и Макарий. Тем не менее принципиально вопрос о церковной секуляризации был уже поставлен с того момента, как на соборе 1503 года выступили со своим предложением заволжские старцы; на Стоглавом соборе 1551

года вопрос этот был выдвинут уже вторично; а после собора 1580 года, когда духовенство ответило Грозному отказом,—царь Иван,—по рассказу Горсея,—взыскал с духовенства 3 миллиона рублей деньгами и отобрал много земель и угодий. Это уже была политика, напоминавшая и предварявшая образ действий Петра Великого и Екатерины II, при которых и совершилась секуляризация.

Боярство и черное духовенство были таким образом на пути к своему упадку, но боярство успело уже дальше уйти по этому пути, ниже склониться под ударами судьбы, чем хитроумные иноки и владыки; для боярства был впереди некоторый просвет только в лице царя-боярина Шуйского, выкрикнутого, впрочем, в цари московскими «пирожниками и сапожниками», тогда как для духовенства была еще впереди блестящая эпоха московского патриаршества, эпоха святейшего Гермогена, великого государя Филарета и «собинного друга» Никона.

Напротив, на пути к возвышению и расцвету были две новых общественных силы, впервые достигавшие значения,—служилое дворянство и торговый посадский класс. Служилое дворянство, народившееся впервые в холопьей среде удельного княжеского двора,—откуда и самое название «дворян», равнозначащее позднейшему «дворовые»,—в XV и XVI веках выросло в целую большую боевую силу, составило кадры первой российской национальной армии,—армии, обеспеченной поместьями, холопами и крестьянами. Создавая эту дворянскую армию, московские государи готовы были принести ей в жертву все другие русские силы, и боярскую вотчину, и церковные имения, закрепостить ей и холопов, и вольных прежде крестьян. Первый по времени дворянский

публицист, Ивашка Пересветов, призывал Грозного царя не вельмож, а воинов возвышать,—не бояр, а служилых людей (дворян): «Воина держать, как сокола чередить, и всегда ему сердце веселить, и ни в чем на него кручины не допустить. Имена воинов веселить, и жалованья прибавлять, и к себе их припускать близко, и во всем им верить, и жалобы их во всем послушать, и любить их, как отцу детей своих, и быть до них щедру; щедрость к воинам—в этом мудрость царская». «Царю без воинства быть нельзя, воинами царь силен и славен». При поддержке этих воинов царь сможет «вельмож всячески искушать» и «боярами своими тешиться, как младенцами». Эту пересветовскую программу и выполнял царь Иван, устраивая свою опричнину, веселя сердца своим дворянам-опричникам и боярами своими тешась, как младенцами. При самом царе Иване дворяне получили в свои руки немало земель, бывших княжеских и боярских, и губные, и земские учреждения, заменившие кормленщиков в волостях и уездах; при царе Ѳедоре и Борисе Годунове правительство помогло им закрепить за собой крестьян. Только церковные земли как-то не давались в руки, но и это был только вопрос времени: рано или поздно это должно было случиться. Вместе с дворянами возвышалось значение нового общественного начала,—старая порода вытеснялась понемногу службой; и Грозный, и Годунов возвышали уже на первые места простых страдников и людей, взятых с гноища (как Адашев), и слагалась уже новая поговорка: «велик и мал живет государевым жалованьем». Старая феодальная Русь, с породой и местничеством, отживала свой век, уступая место новой, дворянской Руси. В обширных хоромах Московского государства, где в фундаменте были заложены крестьяне с холопами и про-

чими мелкими людьми, а первый этаж составляли падавшие боярство и духовенство,—дворянство занимало, очевидно, бель-этаж.

В этом же бель-этаже располагалось ненадолго посадское, торговое сословие. Развивавшаяся торговля питала рост русского купечества. При Василии III возобновилась торговля с немецкой Ганзой, оборвавшаяся при Иване III; завязалась торговля с Швецией, с которой был заключен торговый договор; русские купцы получили право торговать в немецких и шведских землях. При Иване IV Москва унаследовала торговлю с востоком, с Хивой, Бухарой, Шемахой; оттуда шли в Москву персидские и индийские товары. Русские купцы ездили и в Азов и Константинополь, и в Литву и Польшу. Внутри страны выростали торговые ярмарки и посады, строились сотни лавок и целые гостиные дворы, оживлялись речные пристани и торговые дороги. К Москве сходилось не менее семи дорог, и по одной только из них (Ярославской) в Москву въезжало ежедневно по 700—800 возов с зерном. Когда Иван IV шел с войском под Казань, в Свияжске съехалось такое количество купцов с припасами, что выросла целая ярмарка, «и было там всего довольно, чего душа ни захотела». Все это содействовало росту купечества, наживавшегося на торговле хлебом и рыбой, скотом и мехами и т. п. Еще больше значения имело открытие Московии англичанами и основание в Москве конторы английской «Русской компании». Вслед за англичанами появились и купцы других наций: шведы, голландцы, французы, итальянцы, ливонские и ганзейские города—все хотели перебить у англичан русскую торговлю, перебить русские барыши; царь Иван IV давал англичанам большие льготы, так что русские люди называли его даже не русским, а «английским царем».

Эти чрезмерные льготы были невыгодны и русскому купечеству; и после царя Ивана, при его преемниках, льготы англичан были уменьшены: им было запрещено торговать в розницу, держать русских людей в приказчиках, и только за большие деньги разрешили им беспошлинную торговлю. Купцы других наций не могли добиться и этих прав; из всех ганзейских городов торговые льготы были даны одному Любеку, да и любекские купцы должны были платить пошлину, хотя бы в половинном размере. Это сокращение торговых привилегий, данных иноземному купечеству, было выгодно русскому купечеству и, содействуя его успехам, показывало в то же время достигнутый уже уровень его значения. В самой Москве центром новой торговой силы был Китай-Город, окруженный белой каменной стеной; Китай-Город вырос прямо подле старинного московского Кремля. Верхний слой посадского класса, гости, занимали уже видные места по финансовому управлению, служили в верных старостах, головах и целовальниках, на таможнях, и в кабаках, у соболиной казны и т. п. И все-таки в бель-этаже Московского государства этот торговый люд водворился тогда только временно, не навсегда и даже не очень надолго: вскоре он был на много десятков лет совершенно оттеснен и заслонен могущественным дворянством, заполнившим собой всю сцену русской жизни.

XVI век в русской истории был веком жестокой классовой борьбы; в этой борьбе приходили в упадок одни классы, возвышались другие; враждебные стороны воевали не только мечом и огнем, интригой и подкупом; они обменивались и словесными ударами и уколами, рубились гусиными перьями своих публицистов. В этой словесной войне выковались любопытные характеристики

сторон, составленные их противниками. Эти характеристики дают в общем яркую и выразительную картину Московской жизни XVI века. «Многие промежь них были вражды о корыстях и о племени (родстве) их; всяк своим печется, а не государским, не земским», писал монах-летописец о княжатах и о боярах. Царь Иван жаловался на них же, вспоминая, как они хозяйничали в его малолетство: «казны его государские расхищали, а прибытков казне никаких не прибавили; земли его государские себе разобрали, друзьям своим и родственникам роздали; держа за собой поместья и вотчины великие, получали жалованья государские, кормления, собрали себе великие богатства; дворы, села и имения дядей его себе присвоили и водворились в них; а бояре князья Шуйские на казенный счет себе сосуды золотые и серебряные выковали и написали на них имена своих родителей, будто это их родительское стяжание». О русских боярах говорит и Ивашка Пересветов: «вельможи русского царя,—рассказывает он,—сами богатеют и ленивеют, а царство его оскужают»; они «цветно и конно и людно выезжают на службу его, а крепко за веру христианскую не стоят и люто против недруга смертною игрой не играют», а когда выйдут на битву, то «только людей травят и войско свое теряют». От этих вельмож «умалилась и правда» в Московском государстве.

В особенно ярких красках рисуется монастырское хозяйство, главным образом, в обличениях монахам, написанных их противниками-нестяжателями. «Где в евангельских, апостольских и отеческих преданиях,—спрашивает Вассиан Косой,—велено инокам села многонародные приобретать и порабощать крестьян братии, с них неправедно серебро и золото собирать? Господь сказал: раздай имение нищим. А мы, вшедши в монастырь,

не перестаем чужое себе присвоивать всяческим образом, села и имения; то с бесстыдным ласкательством выпрашиваем их у вельмож, то покупаем. Смотрим в руки богачей, раболепно угождаем им, чтобы выманить от них деревнишку, или серебренники, или животинку». «Господь повелевает: отдай нищим. А мы оскорбляем братий наших, живущих у нас в селах, обижаем их, неправедными поборами, налагаем на них лихву на лихву, а милости к ним ни в чем не показываем. И если они не имеют сил отдать нам лихвы, то мы без жалости лишаем их имущества, отнимаем у них коровку или лошадку, а самих с женами и детьми, как поганых иноверцев, далеко прогоняем от своих пределов, а иных, предав княжеской власти, доводим до конечного разорения. Обижаем их, грабим, продаем христиан, нашу братию, бичом их истязуем без милости, как зверей диких». Обращаясь к монахам иосифлянам, Вассиан продолжает: «Сами вы изобилуете богатством и объедаетесь сверх иноческой потребы, а братья ваши, крестьяне, работающие на вас в ваших селах, живут в последней нищете. Все годовые избытки ваши вы обращаете в деньги, чтобы давать в рост, или храните в кладовых, чтобы после, во время голода, продавать за дорогую цену». И епископы также «отдают церковные деньги в рост, бедным и богатым, и «кто не в силах отдать лихву, тех в конец разоряют». «Измышляют себе до бесконечности разнообразные одежды и кушанья, а о гибнущих от холода и голода не имеют никакого попечения». И Максим Грек рассказывает о монахах: «проценты на проценты истязуют от убогих, а у неоплатных должников расхищают худые стяжаньица, последнее, что осталось от нищеты. Задолжавших крестьян морят беспрестанно всяческими монастырскими работами или продают в рабство; сирот и вдовиц бесщадно

и безмилостиво расхищают». В анонимной «Беседе валаамских чудотворцев», написанной при царе Иване, об иноках говорится: «строят себе они каменные ограды с палатами, с позлащенными узорами, с травами многоцветными. Украшают себе кельи, как царские чертоги, и везде у них лучшее и завидное все, и покоят себя пьянством и брашном. Возлюбят пьянство, нечистоту, свирепство, и немилосердство. Угождают мамоне, а не душе своей. Сверх казны монастырской еще крадут и себе в собину собирают золото, серебро—и мир слезят. Богомерзко их житие, и обычай их неприятен». «Ростовщики-жидовины»,—«сребролюбцы ненасытные»,—«и в царях редко встретишь такое свирепство, как в иноках». «Праздные, лютые и лукавые мнихи,—писал об иосифлянах Курбский,—только о том, и стараются, как бы выманить имения монастырям или богатство многое, и жить в сладострастиях скверных, как свиньи питаясь, не говорю уж в грязи валяясь». И сам Грозный царь отзывался об иноках немногим лучше. В 1580 году, по рассказу Горсея, царь Иван травил игуменов и епископов медведями за отказ их пожертвовать землями в пользу людей служилых и тем вывести государство из затруднения, и говорил им такую речь: «Мои слова о бедствиях государства и о нуждах народа не возбудили в вас сожаления и не смягчили вас. Вы, для поддержания своей власти, присвоили себе все богатства страны, вы захватили себе в собственность третью часть городов, посадов и деревень нашего государства. Весь мой некогда зажиточный народ обеднел через ваши грабежи и дьявольские обманы; ваши доходы на много превышают то, что обыкновенно вы можете истратить, даже при вашем роскошном и расточительном образе жизни. Мое дворянство и служилые люди через это находятся в упадке, и казна наша истощена».

О служилом дворянстве, об его общественной физиономии дают нам достаточное понятие все факты, рисующие опричнину с ее неистовствами и казнями. Опричники были передовыми борцами российского дворянства, они закладывали основы будущего благосостояния этого сословия; ради этого благосостояния они не щадили никого и ничего и жертвовали ему всем; царь Иван был только вождем опричнины, предводителем всероссийского дворянства. В числе самых видных жертв дворянской опричнины значится святой московской церкви, митрополит Филипп, осмелившийся говорить обличительные речи: «У татар и язычников есть правда, в одной России ее нет; во всем мире можно встретить милосердие, а в России нет даже сострадания к невинным и правым; здесь мы приносим Богу бескровную жертву за спасение мира, а за алтарем безвинно проливается кровь христианская», и не давший царю благословения. Другой крупной жертвой был целый Великий Новгород, где царь с опричниками не пощадили никого,—ни светских, ни духовных; священников и монахов били на правеже и на цепи держали, остальных новгородцев бросали в Волхов с женами и детьми и потом ездили по реке на лодках и прихватывали тех, кому удазалось выплыть, кололи их рогатинами и копьями и погружали в воду; не оставили без казни даже здания и скотину, жгли скирды и житницы, били скот, рассекали лавки и амбары, и все это в течение 6 недель: сцены, не только не уступающие в жестокости известным нуайядам французской революции, но, пожалуй, и превосходящие их своим мрачным безобразием. А жестокости отдельных казней,—князя Щенятева, например, которого жгли огнем на сковороде и за ногти иглы вбивали, или князя Одоевского, которому сквозь грудь сорочку продернули и дергали ее взад

и вперед, или князя Воротынского, которого сам Иван Васильевич поджаривал на огне и жезлом подгребал под него угли!.. Сюда же относятся, к характеристике этой дворянской опричнины, и те синодики, какие составлял и рассылал по монастырям Грозный; в одном из синодиков значится больше 3000 имен. Кровавые крестины устроил для народившегося при нем русского дворянства царь Иван.

Здание Московского государства, по разным этажам которого разместились различные общественные классы, было обширно, но беспорядочно. Оно строилось без всякой системы, без какого-либо плана, и больше всего напоминало большие старинные хоромы деревянного стиля: целый городок отдельных изб, разной величины, различной вышины, с разнообразно-устроенными кровлями: и шатром, и бочками, и на два, и на четыре ската, и с шлемообразными главами и главками, и с типичными московскими луковицами, с сенцами, галлерейками, повалушами и теремами златоверхими—и тут же рядом, в той же самой связи, с готическими каменными башнями и флорентинскими граненными по стенам палаццами. Обломками такого стиля остаются до наших дней Василий Блаженный и Грановитая палата. Вот таким было и государство Иванов III и IV. Мы теперь называем его одним именем Московского государства, от имени его столицы, но люди XVI века называли его иначе: они говорили о «всех государствах Российского царствия» и перечисляли их в таком порядке: Московское государство, великое княжение Владимирское, великое княжение Новгородское, царство Казанское, Астраханское и т. д. Последние следы этого былого сепаратизма сохранялись еще недавно в царском титуле в его полном виде. Но в XX веке этот перечень не делает русской

империи федерацией; в XVI веке название Российского царствия не сообщало требуемого единства разрозненным землям и областям Московии, не успевшим еще спаяться и слиться в одну нераздельную Россию. Тогда не успели еще совсем стереться местные различия и особенности земель, входивших одна за другой в состав Московского государства; земли Великого Новгорода казались еще оплотом вечевой крамолы; да и удельные княжата «еще сидели на своих уделах», хотя бы эти уделы и назывались по-новому, по-московски, вотчинами. Не даром московским государям приходилось вести с княжатами такую жестокую борьбу. И сами московские государи не были еще в полном смысле слова московскими государями; Иосиф Санин называл Ивана III не «всея русской земли государь», но «государям ее государь». До какой степени живучи были еще эти традиции областного и удельного дробления, показывает практика царя Ивана, который никак не мог, прямо не умел расстаться с известными удельными понятиями: то он сам для себя выкраивал из всего Российского царствия свой вдовий удел, опричнину, то сыну Дмитрию выделял в особый удел Углич.

Эта старомодная постройка, называвшаяся «государствами Российского царствия», и по внутреннему своему устройству еще сильно напоминала удельные времена. Вся она выросла из вотчины дома Калиты, и вся насквозь, до низких сводов кремлевского дворца и до высоких златоверхих теремов, была пропитана старым вотчинным и холопьим духом. Ни теория византийского наследства, ни шапка Мономаха, ни присланный из Царьграда трон не превращали потомков Калиты в действительных преемников греко-римских кесарей, как ни твердили об этом публицисты московского самодержавия—иосифляне. И

как ни старались, с одной стороны, эти иосифлянские публицисты, а с другой, закоренелые их противники, княжеско-боярские публицисты стиля Курбского, внушить потомкам Калиты новые политические понятия, поставить им новые политические требования о соблюдении правды и закона, об организации суда и обороны,—все это было гласом вопиющего в пустыне; иноземная позолота спадала с них «ветхой чешуей», и обнаруживалась то и дело подлинная московская природа: на византийском троне и в шапке Мономаха восседал не столько государь, повелевавший миллионами подданных, сколько хозяин, владевший миллионами холопей. «Вся Русская земля, Божьей волей, из старины от наших прародителей—наша вотчина»;—«жаловать есмы своих холопей вольны, и казнить их вольны же есмы»,—в этих двух правилах заключалась вся политическая мудрость царя Ивана. Этими свойствами своей власти и гордился так царь Иван, для которого «никоторое государство высоко не бывало» и рядом с которым польский король был «худейший из рабов худейших, никем не повелеваюций, но повелеваемый всеми», и король шведский был только «как староста в волости», а английская королева Бетси была только «пошлая девица». Идеалом же подданного для него был Васька Шибанов, холоп князя Курбского, готовый безропотно пострадать от своего «строптивого владыки».

От удельных времен были унаследованы и все порядки московского управления, с неуклюжими приказами в центре и ненасытными кормленщиками в областях. Что собой представляло это управление, лучше всего можно видеть из соответствующих статей судебников и из уставных, губных и земских грамот. В Судебнике Ивана III было предписано «прокликать по торгам на Москве и во всех городах, и по всем волостям заповедать, чтобы

истец и ответчик судьям и приставам посула в суде не сулили». В царском Судебнике, спустя полвека, пришлось это повторить и еще дополнить указаниями на кары, грозящие за неправый суд: на тройные штрафы, на тюрьму и кнутья. В уставных грамотах помещалась изобразительная картина, как везут—и главное, как должны везти государеву наместнику рождественские, петровские и иные кормы: везут ему полоть мяса, десять хлебов, бочку овса, воз сена, и ему, наместнику, «большего не требовать». И сам царь Иван рассказывал об этих порядках: «сидели по кормлениям князья, бояре и дети боярские, сидели по городам и по волостям для расправы людям и всякого землям устроения, и себе от служеб для покоя и прокормления». Собственный покой и прокормление были главными пружинами, приводившими в движение всех этих кормленщиков и руководившими ими во всей их деятельности; общее благо, польза населения были для них на последнем плане. И население не переставало жаловаться, что «кормленщики их своими кормами разорили, деревни их запустошили, и от татей и разбойников их не оберегают; и им этих кормленщиков больше прокормить нечем, да и казенного тягла больше тянуть нельзя». «И вниде в слух благочестивому царю, что многие грады и волости пусты учинились, наместники и волостели из многих мест, презрев страх Божий и государские уставы, много злокозненых на них дел учинили, и не были им пастыри и учители на благое, но сделались как бы волки, гонители и разорители». С этими кормленщиками население было в постоянной жестокой борьбе, било на них челом, не давалось им под суд, отказывало в кормах, и с оружием в руках поднималось на них и отнимало их стяжания и самую жизнь, и, наконец, предложило царю за отмену ненавистных

кормлений выкуп; и величайшая реформа Грозного совершилась: кормления были отменены, население получило выборных голов, старост, целовальников и т. д. под условием платежа большого денежного оброка в царскую казну. Московское население хорошо понимало своего государя, знало, с какого бока всего удобнее к нему подойти.

Действительно, царь Иван был истинный сын дома Калиты, настоящий преемник по власти этих государей, о которых Ключевский выразился, что это «хорошие хозяева—скопидомы по мелочам, понемногу...—Готовясь предстать пред престолом Всевышнего Судии и диктуя дьяку духовную грамоту, как эти князья внимательны ко всем подробностям своего хозяйства, как хорошо помнят они всякую мелочь в нем!- Таким именно был и царь Иван; на ряду с вотчинными понятиями и привычками он унаследовал от своих предков и их выдающиеся хозяйственные способности и никогда, ни при каких условиях, не мог забыть о своих материальных интересах. Эти материальные интересы подсказывали ему его губную и земскую реформу; эти же интересы не переставали владеть им и в самые, казалось бы, критические моменты его террора, его кровавой борьбы с боярством. И отъезжая из Москвы в Александровскую слободу, он не забыл взять с собой всю свою казну; и вернувшись в Москву на царство, он прежде всего подумал о своих расходах. «Чего стоили самому Ивану, - пишет Соловьев, - отъезд Курбского и переписка с ним, собственный отъезд в слободу, тревожное ожидание последствий, какие будет иметь посылка грамоты в Москву,- чего стоило ему все это, видно из того, что когда он возвратился в Москву, то нельзя было узнать его: волосы с головы и с бороды исчезли». Сам он жаловался в письмах Курбскому, что от

злобы и утеснения боярского у него сделалась боль в пояснице. Так потрясен был нравственно и физически Грозный. Но это нисколько не заставило его забыть о материальной стороне дела. Тотчас же, дрожащими еще от волнения руками, принялся он отбирать и отписывать у опальных их имения себе в казну, а издержки свои по поездке в Александровскую слободу и обратно покрыл из средств земского приказа (тогдашнего московского градоначальства), предназначенных на мощение улиц, тушение пожаров и охрану вообще тишины и спокойствия,—приказав взыскать с Земского приказа за свой подъем сто тысяч рублей.

О порядках, царивших в Московском государстве, рассказывают всего лучше сами современники, русские люди, жившие под этими порядками, на себе испытавшие их тяжесть. Один из этих современников,—политический противник Грозного царя, князь Курбский, писавший о временах опричнины; другой—человек партии Грозного, публицист самодержавной власти и дворянских привилегий, Ивашка Пересветов, писавший о временах боярских, о первой половине царствования Грозного. Но в своей оценке московских порядков они оба удивительным образом сошлись. «Сану царскому воистину приличны суд праведный и оборона», восклицает Курбский. «Цари только того ради и существуют, чтобы прямо судить и царство, врученное им от Бога, оборонять от нахождения варваров». Ни того, ни другого не находил Курбский в Московском государстве. С тех пор как окружили царя вместо советников разумных «презлые ласкатели» иосифляне и кромешники-опричники, царь великий христианский «перед басурманским волком бегает, стал бегун пред врагом и хороняка, за леса забившись, трепещет и исчезает», когда за ним никто и не гонится.

Так же мало обеспечен и праведный суд: «се царя нашего христианского суд таков», восклицает Курбский, рассказав о том, как судили заочно Сильвестра и Адашева, не выслушав даже, что они скажут в свое оправдание,—и как без суда и права погибли во множестве другие жертвы. Особенно возмущали Курбского жестокие казни царя Ивана, и с негодованием он обращался к московскому царю: «Христианский, речешь, царь? И еще православный, отвечаю тебе! Христиан губил и от православных людей рожденных младенцев не пощадил». Не один раз взывал он к Ивану: «Усмириться уже пора и укротиться твоему величеству и войти в чувство: уже время».—«Очнись и воспрянь! Не губи себя и дома своего».

Пересветов, в своих сочинениях, поданных им царю Ивану, ставил ему в пример... турецкого султана и предостерегал его от порядков греческих. Греческие порядки привели Царьград к гибели; там у греков «вельможи всем царством обладали и неправдами исцепили и своими неправедными судами; все греческое царство за вельмож заложилось, а вельможи только о том и думали, что о кормлениях царю печаловались, яко голодные псы, хистяся на кровь и на слезы». Те же вельможи старались царя «укротить от воинства, чтобы самим с упокоем пожить,—и царя укротили, и царство свое потеряли». А царь Махмет-Салтан, хотя он и неверный царь, вельмож сократил и в свое царство правду ввел, а ложь вывел. «А в котором царстве правда, в том и Бог пребывает и помощь свою дает. Правды сильнее в Божественном писании нет. Бог любит правду больше всего. Не веру Бог любит, а правду». Но Московское государство похоже больше на греческое, чем на турецкое: в нем совсем нет правды. «Такое царство великое, сильное, славное и всем богатое, царство Московское; а есть ли в том

царстве, правда? Вера христианская там добра, всем сполна, и красота церковная велика, а правды нет». А «правда —вере красота. Коли правды нет, всего нет».—«Если бы к той их истинной вере христианской да правду турецкую,—то с ними бы ангелы беседовали». Так «умалилась правда» в Московском государстве.

Как умалилась правда в Московском государстве, об этом свидетельствуют еще поучительные картины, какими росписаны были при царе Федоре Ивановиче и правителе Годунове стены и своды Грановитой палаты Московского Кремля. Эта роспись потом была замазана, но подробное ее описание сохранилось, и к коронации Александра III она была восстановлена художниками бр. Белоусовыми по старинным образцам. В сюжетах этой росписи и в их трактовке сказалась вся политическая мудрость московского XVI века, те требования, какие предъявлялись московскими людьми к власти. Это все те же требования суда и правды. В ряде картин изображен судья праведный, карающий неправду, хотя бы и высокопоставленную, и отправляющий на публичное поругание вельможу и даже сродника царева, ограбившего беззащитную вдову,—и тут же судья неправедный, которому бес нашептывает в уши неправые советы, внушает ему принять дары и, оправив виноватого, засудить невинного; и потом он же, неправедный судья, пирует со своими приближенными, пьет вино и слушает музыку,—«а душа его зле в ад исходит: о, горе судьям неправедным!» И внизу изображена огромная адская пасть, и спеленутая, как младенец, и связанная душа судьи спускается в эту пасть...

О московских порядках конца XVI века свидетельствует нам и Флетчер в своем сочинении «О государстве русском». Английский посол, приезжавший в Москву при

царе Федоре говорить о торговой монополии, Флетчер внимательно вглядывался в московскую жизнь и оставил нам яркую картину тогдашних московских порядков и нравов. Книгу свою он посвятил своей государыне, королеве Бетси, и в предисловии к ней писал о Московском государстве:—«В образе тамошнего правления Ваше Величество изволите увидеть не только весьма удивительную, но и действительно существующую форму государства тиранического (далеко не сходную с образом Вашего правления)». В самой книге Флетчер, описывая русский образ правления, говорит, в противоположность Пересветову, что этот образ правления «весьма похож на турецкий»; «правление у них чисто тиранническое; все его действия клонятся к пользе и выгодам одного царя и; сверх того, самым явным и варварским образом». Далее он приводит факты, подтверждающие эту мысль: «чтобы показать власть свою над жизнью подданных,—рассказывает он,—царь Иван Васильевич во время прогулок или поездок приказывал рубить головы тем, которые попадались ему навстречу, если их лица ему не нравились, или когда кто-нибудь неосторожно на него смотрел. Приказ выполнялся немедленно, и головы падали к ногам его». Еще характернее черты, какими рисует Флетчер хозяйственную деятельность этого предпоследнего из потомков Калиты; он говорит о «софизмах, или ложных политических мерах, употребляемых русскими царями, с целью грабить свой народ и обогащать свою казну. По этому случаю царь Иван Васильевич обыкновенно говаривал, что народ сходен с его бородою: чем чаще стричь ее, тем гуще она будет расти,—или с овцами, которых необходимо стричь, по крайней мере, один раз в год, чтобы не дать им совершенно обрасти шерстью». К числу этих софизмов Флетчер относит сле-

дующие, например, правила, которым будто бы следовал царь Иван в своей политике: «не препятствовать насилиям, поборам и всякого рода взяткам, которым князья, дьяки и другие должностные лица подвергают простой народ, но дозволять им все это до окончания срока их службы, пока они совершенно не насытятся; потом поставить их на правеж (или под кнут) за их действия и вымучить из них всю или большую часть добычи (как мед высасывается пчелою), награбленной ими у простого народа, и обратить ее в царскую казну, никогда, впрочем, не возвращая ничего настоящему владельцу, как бы ни была велика или очевидна нанесенная ему обида».—«Показывать иногда публичный пример строгости над должностными лицами (грабившими народ), если кто из них особенно сделается известным с худой стороны, дабы могли думать, что царь негодует на притеснения, делаемые народу, и таким образом сваливать всю вину на дурные свойства его чиновников». Наконец, «чтобы показать свое самодержавие при таких поборах», московские государи «употребляют иногда весьма простые, но довольно странные уловки. Вот как, например, поступал Иван Васильевич. Он отправил в Пермь за несколькими возами кедрового дерева, зная, что оно там не растет; когда же жители отвечали, что не могут найти такого дерева, то царь велел взыскать с них 12 тысяч рублей, как будто бы они с намерением его скрывают. В другой раз он послал в Москву добыть ему колпак или меру живых блох для лекарства. Ему отвечали, что этого невозможно исполнить, и если бы даже удалось наловить столько блох, то ими нельзя наполнить меру, оттого что они распрыгаются. За это царь взыскал с них штраф, или выбил из них правежом 7.000 рублей». «Как ни страшным должен казаться такой забавный спо-

соб грабить бедных подданных без основательного повода, но он совершенно согласен с свойствами тамошних царей и с жалким рабством этого несчастного государства».—В этих картинах, как они ни неправдоподобны сами по себе, удачно схвачены действительные черты московского старого, вотчинного режима. Это те же черты, какие проступают и в народных песнях о «добрых молодцах», «удалых разбойничках»; эти «добрые молодцы» бьют, жгут и грабят, но их милует Грозный царь,—милует за то, что они награбленную казну «точат (спускают) в домах питейных, относят ее во царев кабак». Английский ученый доктор сошелся в своей оценке с народной песнью, сложившейся среди безграмотного народа.

Рисуя яркими красками современную ему Московию, Флетчер делает из этого всего свои выводы. Говоря о московских порядках, он замечает, что все это «так потрясло все государство и до того возбудило всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что, повидимому, это должно окончиться не иначе, как всеобщим восстанием». В другом месте он пишет: «Это безнадежное состояние вещей внутри государства заставляет народ большей частью желать вторжения какой-нибудь внешней державы, которое (по мнению его) одно только может его избавить от тяжкого ига такого тиранского правления». Флетчер предвидит не только будущую смуту и вмешательство в эту смуту иноземцев, но указывает даже момент, когда может разразиться смута, это—конец династии, «которая, повидимому, скоро пресечется, со смертию особ, ныне живущих»,—и это и «произведет переворот в русском царстве»: «если правление вследствие этого переворота сделается хотя несколько умереннее и благодушнее, то это послужит к благоденствию несчастного народа, удрученного теперь невыносимым рабством».

IV.

Старый московский порядок расшатывался уже давно. Снизу из-под него выдергивали фундамент, сверху обваливалась кровля. Одновременно с княжатами и боярами, спасавшимися от казней Грозного в Литву и Польшу, убегали на Дон и Волгу крестьяне и холопы, трудом которых жила Московия. Не один Курбский бежал за польский рубеж, проиграв битву и опасаясь царского гнева; туда уходили князья Глинские и Пронские, Шуйские и Масальские, Оболенские и Долгоруковы, бояре Плещеевы, Вельяминовы, Воронцовы. Они бежали туда, «слыша о вольностях и свободах польских». Еще серьезнее было холопское и крестьянское движение: страна покрылась толпами нищих, толкавшихся у монастырских врат,—«нищих и сирот, мразом и гладом тающих, горько плачущих, скудости своея ради». Леса наполнились шайками разбойников, станичников, разбивавших села и деревни, грабивших имения, пускавших красного петуха по всей России. Это те «добрые молодцы» русских песен, у которых товарищи—темная ночь, ворон-конь да вострый нож, и которым Грозный царь сулит «в чистом поле столбы дубовые с петелькой шелковою». В то же время южные и восточные украйны, на Дону и Волге, наполнялись беглыми людьми, уходившими от закрепощения и холопства. Дикое поле становилось страной настоящей «бродячей Руси», того «жидкого элемента», который действительно был в русской жизни. Этим элементом питалось русское вольное казачество, так непохожее по всему строю жизни на старую Москву, хотя и бывшее плотью от плоти ее и костью от ее костей. Завоевание Грозного открывали этим беглым выход на приволжский богатый чернозем, в казанские и астраханские места. Со

времени этих завоеваний и началось усиленное движение русских общественных низов в эту сторону; вместе с тем пустели старые центральные уезды Московского государства, как раз те уезды, где добрых ⅔ всей земли было в руках служилого сословия; тут сплошь тянулись заброшенные, «порожние места», пустые, покинутые деревни, церкви стояли «без пения»; две трети помещичьих владений в эпоху Ливонской войны совершенно опустели(помещикам становилось, действительно «служить не с чего». Татарский набег Девлет-Гирея, потом хлебный недород и моровая язва закончили это запустение центра,—и к концу Ливонской войны Грозный должен был увидать, что страна его «в конец изнурилась, в запустение пришла». По картинному выражению Ключевского, Москве грозила уже опасность стать, по примеру Киева, «столицей пустыни». При царях Федоре и Борисе это запустение еще усилилось новыми, толпами беглых, гонимых голодом, свирепствовавшим под ряд три года, гонимых их господами, не желавшими кормить рабов слишком подорожавшим хлебом, шайками разбойников, преследуемых царскими войсками. По подсчету Палицына, всех этих людей выбежало при царе Борисе на Северскую Украйну, свыше 20 тысяч человек, не считая женщин и детей. В Москве пренебрежительно называли всех этих беглых «ворами»,—но «все эти воры,—говорит Забелин,—созданы были воровством владельцев, а сами по себе сначала вовсе не были ворами». Наполнялись этими ворами южные украйны; создавалась почва, которая будет питать движения самозванцев; но в то же время пустел все более старый московский центр, ускользал из-под ног у московских помещиков фундамент. Цари Федор и Борис старались собрать и вдвинуть назад рассыпавшиеся камни старого фундамента,—своими указами о

свозах и побегах и о сыске беглых; но все эти меры либо совсем не удавались, либо были недостаточны, чтобы остановить стихийное движение, прекратить разрушительную работу «жидкого элемента».

Затем разразилась самая смута. Она шла, поднимаясь тремя ступенями. Первой ее ступенью было движение первого Лжедмитрия, или, как теперь принято говорить, Названного Димитрия. Для нас не имеет большого значения, кто был первый самозванец; гораздо важнее другой вопрос: кто его окружал, кто оказывал ему поддержку. С самого начала Названный Димитрий обращался с призывом к населению южных украин, к приборным людям и казакам, и обещал им, что будет их «жаловать и в чести держать», «учинит в тишине и в покое и в благоденственном житии». Приборные люди отворяли ему ворота царских крепостей, казаки с Дона обеспечили ему успех, когда ушли от него поляки. В Москве ожидали его победы мелкие городские люди, а зажиточные прятали свое добро: по свидетельству иноземцев, они «чрезвычайно боялись бедной разоренной черни, сильно желавшей грабить московских купцов, всех господ и некоторых богатых людей»; и боялись они не столько самого Лжедмитрия, сколько Корелы с казаками; в виду этой казацкой опасности военные власти укрепляли Кремль, расставляли пушки. И когда явились в Москву агенты Названного Димитрия с грамотой нового царя, первые отозвались на это «торгаши-красносельцы», толпой пошедшие за ними на Красную площадь; и когда Годуновы выслали против них стрельцов, стрельцы отказались и ушли назад: этим они как бы признали в Дмитрии своего царя. И все краткое царствование этого царя, кричавшего и «лаявшего» на бояр и возвышавшего, наоборот, стрельцов и казаков, запрещавшего записывать людей в

наследственное холопство (по одной грамоте отца и сына) и не велевшего возвращать господам их крестьян, бежавших от них в голодные годы,—«не умел крестьянина кормить в голодный год, и теперь его не ищи»,—было таким же кричащим диссонансом для старой Москвы начала XVII века, как аналогичное в этом отношении царствование Павла для екатерининской России почти двести лет спустя. Не даром московская толпа кричала мещанину Федору Калачнику, обличавшему самозванство царя и осужденному за это на казнь, что он заслужил эту казнь; не даром и стрельцы готовы были «поскусать головы» у всякого, кто пойдет против царя Димитрия и «черева их зубами повытаскать». Стрельцы же и сделали последнюю попытку отстоять Димитрия, когда он лежал с вывихнутой ногой под окнами дворца, из которого он спасался от заговорщиков,—и только угроза заговорщиков разгромом стрелецкой слободы заставила их отступиться от своего «стрелецкого» царя. Да заговорщики и не решались выступать открыто против такого популярного в народных массах государя: они поднимали народ не против царя, а против ляхов, которые, по их словам, грозили убить Димитрия; пока народные толпы рыскали по Москве и громили ляхов, заговорщики приканчивали Димитрия, который, как они боялись, собирался больших московских людей погубить. И большие московские люди стали за себя,—отлично зная, как это ясно из всего, что народ не на их стороне, а на стороне «расстриги», «польского свистуна», как называл Лжедмитрия, пристреливший его дворянин Валуев. Когда после этого мы читаем в источниках, как наглумились победители над трупом царя Московского, как он лежал с маской на лице, с дудкой и волынкой, на Красной площади в течение трех дней, и как его тело сожгли и

пеплом зарядили пушку, чтобы развеять прах Димитрия по ветру, — нам становится ясен смысл всей этой сцены: как иначе могла старая Москва поступить с царем, выдвинутым на московский трон общественными низами? На ряду с этими фактами теряет свое значение то, что самозванца, может быть, подготовили московские княжата и бояре, и то, что его поддерживали польские паны и шляхта, и то, что под Кромами на его сторону перешли московские воеводы, князья и бояре с тверскими, новгородскими и рязанскими дворянами, — при чем и тут, в эту решительную минуту, главные воеводы не решились «своровать» открыто, но велели связать их, чтобы до поры до времени скрыть свою измену. Не в них, не в княжатах, боярах и дворянах, была главная сила смуты, хотя казалось, что от них в данном случае зависел исход борьбы.

Второю волной смуты было движение Болотникова. В этом движении еще яснее социальная подкладка смуты: в нем совсем не участвовала Польша, и совсем не появлялся самозванец; именем Димитрия действовало другое лицо, характерное в качестве вождя смуты: это был Болотников, беглый холоп, человек, вышедший из общественных низов. Своими «прелестными листами» (прокламациями) он поднимал на Москву других таких же, как и он, холопов, внушал боярской и дворянской дворне и всякой черни «всякие злые дела на убиение и грабеж»; в этих «воровских грамотах» мятежники «велели боярским холопам побивать своих бояр, и вотчины и поместья их им сулили, велели гостей и людей торговых побивать и животы их грабить, призывали воров к себе и сулили им боярство и воеводство, окольничество и дьячество». И «собрались боярские люди, и крестьяне, к ним же пристали и украинские посадские люди, и

стрельцы, и казаки, и начали по городам воевод хватать и сажать в темницы, бояр же своих дома разоряли и животы грабили». Движение разлилось на этот раз шире, чем при первом Лжедмитрии; оно охватывало громадное пространство от Путивля до Нижнего и Твери, отголоски его были слышны на Тереке, в Астрахани и Смоленске, принимала в нем участие и мордва. Воровская армия подходила уже к Москве,—были взяты Серпухов и Коломна, занято село Коломенское под Москвой, и сама Белокаменная шесть недель высидела в осаде. В Москве еще раньше пришлось укреплять Кремль, принимать меры против мятежной толпы, верной «царю Димитрию» и не хотевшей слышать о новом царе Василии; Шуйскому приходилось громоздить пушки на пушки, чтобы удержаться на троне Грозного. Так же громоздил он и грамоты на грамоты, чтобы убедить всех, что подлинный царевич погиб в Угличе, а Лжедмитрий был вор, злодей и расстрига, «действовавший по совету дьявола и лихих людей», глумившийся над святынями и над русскими людьми. С этой же целью были торжественно открыты и перенесены в Москву мощи царевича Димитрия, и сама мать царевича, инокиня Марфа, должна была публично в соборе каяться в своем прегрешении, что признала своим сыном самозванца, и взывать в особой грамоте ко всем русским людям, спрашивая их: «как вас не уверят многочудесные мощи сына моего?!» С этой же целью велено было ежегодно проклинать с еретиками Гришку Отрепьева со всеми его советниками. Но все эти меры были мимо: они могли еще, может быть, подорвать престиж новых самозванцев, но не могли примирить с существующим порядком те народные массы, для которых сам самозванец был только предлогом и знаменем для борьбы. Яснее в движении Болотникова и политика тех

дворян и детей боярских, с Ляпуновым и Пашковым во главе, которые то шли с ворами на Москву, то с Москвой обрушивались на воров: если их временное участие в смуте затемняло отчасти ее истинный характер, заслоняло действующие в ней низы, то измена их «ворам» под Москвой обнаружила с необыкновенной ясностью социальный смысл движения.

В третий раз поднялась московская смута в движении Тушинского вора. В этом движении был снова самозванец, и даже много самозванцев—разных казацких царевичей, но именно это обилие самозванцев показывает, что дело было не в них, а в той почве, на которой они с такой легкостью возникали. В движении опять участвовали поляки, отряды Рожинского, Лисовского и Сапеги, участвовали в обложении Москвы и в осаде Троицкой лавры,—но движение было вызвано не ими и не прекратилось с их уходом, когда Сигизмунд отозвал их из Тушина к себе; оно только перешло в другое русло, отклонилось в Коломенское и Калугу, а потом сосредоточилось в казацких таборах под Москвой, где был зарублен казаками Ляпунов, и где потом был уже не «вор», а «воренок». На этот раз смута охватывала страну еще шире, чем при Болотникове,—от южных украин до Вятки и от Черемисы до Пскова и Орешка; на весь центральный Московский край была наброшена ворами огромная петля; движение проникало и к северу, за Волгу, в далекое Поморье. Десятки городов целовали крест вору и отворяли ворота его воровским воеводам. И везде повторялись одни и те же сцены: лучшие люди боялись меньших, и «давали волю мелким людям, стрельцам, казакам, поселянам»; люди, «кипящие богатством», уступали место «самым худым людям». Эти сцены повторились и в самой Москве, когда во главе ее, рядом с паном Гонсевским,

оказался мужик-кожевник Федька Андронов. Это был самый развал московской смуты, та ее эпоха, когда весь старый общественный строй был перевернут вверх ногами, когда «малое великое начало одолевать, рабы—своих им господ» и всюду господствовала «преумноженная чадь, неблаг совет о всем умыслившая» (Тимофеев). Оставалось надеяться на лучшее будущее, когда «владыка дома, которому многие его рабы в безгодия время досадили, приимет от бед отраду», и можно будет «прежния тех рабов досаждения вспомянуть, и они лютою смертью тогда умучаются» (Тимофеев). Опять и в этом движении, при всем его ультра-демократическом, т.-е. (с московской точки зрения) воровском характере, в известный момент выступают дворяне, бояре, княжата; в Тушине появляются представители титулованных московских фамилий, Гедиминовичи и Рюриковичи, и родоначальник будущей новой династии, Филарет Никитич, принимает из рук вора- наречение в московские патриархи. Но это показывает только, как далеко пошла в это время смута, до каких общественных вершин докатилась ее волна, если единственной прочной точкой для них казался Тушинский воровской двор.

В ответ на волны общественного движения, шедшие снизу, поднялось встречное движение реакции. Реакция эта наметилась уже в момент гибели первого самозванца, когда новым царем был намечен среди заговорщиков Рюрикович старшей линии, князь Шуйский. Это была определенная фигура, объединявшая собой интересы боярской вотчины и купеческой мошны. Выкрикнутый на Красной площади «купцами, пирожниками и сапожниками», новый царь затем был связан боярской думой, а еще больше окружавшими его при дворе боярами, которые «имели больше власти, чем сам Шуйский». Гла-

/вой церкви сделался Гермоген, обличавший Лжедмитрия, еще когда он был царем, и попавший за это при нем в опалу,—теперь он был поставлен в патриархи и сделался ревностным приверженцем Шуйского; благодаря ему было устроено и открытие мощей царевича Димитрия и торжество перенесения их в Москву. В этом союзе боярства, купечества и церкви не получили ничего служилые дворяне, что и естественно: правление Шуйского было реакцией не только на начавшуюся смуту, но и на царствования Грозного и Годунова. Этот антидворянский характер Шуйского лучше всего подмечен в краткой его характеристике, сделанной публицистом Романовской партии, князем Катыревым-Ростовским: «скуп вельми и неподатлив, о воях своих не радел». Нерадение царя о воинах, т.-е. о служилом дворянстве, шло вразрез и с программой Пересветова и со всей политикой Грозного и Годунова; но нельзя забывать, что царь Шуйский, опиравшийся на купеческую мошну, и не мог действовать иначе, если не хотел, чтобы московские купцы выкрикнули кого-нибудь другого: скупость и неподатливость царя к дворянам могли не нравиться этим дворянам, но в глазах купечества это были отнюдь не пороки царские, а его добродетели и мудрость. В этом столкновении посадского царя с дворянством намечалась уже будущая борьба посада с дворянским управлением, которая наполнит собой весь XVII век русской жизни и дойдет до высшего напряжения в борьбе со взяточничеством второго городского царя Петра Великого.

После движения Болотникова, когда оно было разбито, реакция развернулась во всю свою ширь и достигла небывалого прежде размаха. Вместе с тем должна была существенно измениться социальная физиономия реакции: она становилась дворянской; после того как дворяне,

действовавшие сперва с ворами, отстали от них и в самую решительную минуту перешли на сторону Шуйского,—правительству нельзя уже было продолжать свою прежнюю, антидворянскую политику. К прежним реакционным элементам, боярству, купечеству, духовенству, примкнуло теперь и дворянство; и реакция должна была осложниться новыми, дворянскими чертами; скупость Шуйского и нерадение его о воях были теперь уже неуместны. Всеми этими условиями определился характер тех мер, какие приняло правительство Шуйского после сдачи Тулы Болотниковым. Этой сдачей заканчивался второй акт смуты; начинались ссылки и казни,—обычные спутники всякого провалившегося движения. Но дело не ограничилось только ссылками и казнями; все население мятежных украин было отдано на разграбление татарам, мордве и черемисе с правом «всяких людей воевать, в полон брать и животы их грабить». Во время борьбы с ворами захвачено было много пленных; ими теперь переполнены были тюрьмы; чтобы очистить тюрьмы, воров просто бросали, а по тогдашней терминологии «сажали» в воду, или раздавали в неволю господам—и прежним их господам, если такие находились, и всем желавшим получить задаром новых холопей. Реакция отразилась и на законодательстве эпохи Шуйского. Сюда относится указ 1607 года, удлинявший втрое урочные года для сыска беглых крестьян,—вместо прежних 5 лет теперь можно было искать их в течение 15 лет; тем же указом назначался 10-рублевый штраф (больше 200 р. на наши деньги) за прием чужого беглого; это последнее правило подкреплено было афоризмом: «не принимай чужого». «А когда побежит женка или вдова или девка в чужую сторону, и там выйдет замуж,—и того мужика, который женится на чужой женке, отдать тому, чья

женка». Так старое правило—«по рабе холоп»,—было распространено отныне и на крестьян. Приказным людям за неисполнение этого указа грозили суровые кары—двойной штраф и отставка от всякой службы: «А который приказный человек этого исполнять не будет, с того деньги доправить вдвое, и от дела его отбросить, и впредь ему ни у какого государева дела не быть». Для приказного человека это означало полный конец всей его карьеры. Таков был этот указ царя Шуйского,—указ, который Ключевский называет «едва ли не самым важным законом в истории установления крепостного права»; так велико было значение реакции 1607 года для социальной истории России.

Шуйскому и его сторонникам могло казаться, что движению низших классов нанесен последний, окончательный удар, что с революцией раз навсегда покончено, что остается только пользоваться плодами победы. На деле оказалось другое. Реакция Шуйского обострила социальную борьбу и вызвала новую общественную волну,—самую широкую и самую высокую, своего рода «девятый вал» смуты, Тушинское движение, за которым последовало и военное вмешательство держав, Швеции и Польши. Но как раз Тушинское движение подняло на Руси новую волну реакции; в дело вступили города и уезды черносошного и торгового севера, ставшие сами за себя, возмутившиеся против тушинских захватов и поборов. Началось это новое движение в конце 1608 г. когда в Вологде «многие люди плакали», не желая давать тушинцам подвод с саньми, лошадьми и рогожами и запасов свинины и сухарей, груздей и рыжиков, а устюжане, узнав об этом, не хотели целовать крест вору. Города списывались друг с другом, сговаривались об отпоре тушинцам, сборщиков дани встречали с оружием в ру-

ках, отбивали от стен своих целые тушинские отряды. Посадские люди соединялись в этом движении с дворянами и крестьянами, весь богатый север поднимался против мятежного юга, становился на защиту своих лисиц и соболей и торговых барышей. Скопин Шуйский из Новгорода занимался организацией этого движения, и с его помощью уже почти очистил страну от воров и ляхов; но правительству Шуйского не удалось воспользоваться для себя плодами этого движения: за подозрительной смертью Скопина последовало Клушино и сведение Шуйского с престола;—в 1610 г. сошел со сцены последний Рюрикович на русском троне, сошел унизительно, с бессильной злобой, с жалкими попытками сопротивления, отбиваясь руками и ногами от монашеского клобука. Но это вовсе не прервало развития реакции; без Шуйского она развивалась еще правильнее, чем при нем.

Захар Ляпунов, сводя Шуйского с престола, говорил ему: «положи посох царский, а мы уже о себе как-нибудь промыслим». Московские люди, участвовавшие в сведении Шуйского, были уверены, что сами сумеют справиться с войной и смутой и что сделают это даже лучше, чем мог сделать сведенный царь. Как промышляли они о себе и как боролись со смутой, показывают лучше всего оставшиеся от этой борьбы документы: договоры тушинских бояр и потом московских с Владиславом, договор Новгорода со шведами, приговор Ляпуновского ополчения, грамоты Пожарского при созыве второго ополчения. В договоре тушинских бояр с Владиславом (от 4 февраля 1610 г.) говорилось о правах и привилегиях русского духовенства, боярства, дворянства и купечества, о том, что все эти права государь «будет добре соблюдать и еще по заслугам прибавлять», а о кре-

стьянах, холопах, и казаках было сказано: «мужикам-крестьянам из Руси в Литву и с Литвы на Русь и на Руси между русскими людьми—выходу не допущать; холопов, невольников боярских, оставить в прежнем положении, чтобы боярам или панам своим попрежнему служили; а вольности им господарь его милость давать не будет». А казаки, «надобны они или ненадобны»,—об этом господарю говорить с боярами и с думными людьми: ставился таким образом вопрос о самом существовании вольного казачества. В позднейшем договоре с Владиславом, составленном в Москве в августе того же года московскими седмочисленными боярами с князем Мстиславским во главе, было сказано просто: «боярам и дворянам и всем чинам держать крепостных людей по прежнему обычаю, по крепостям». И в договоре Новгорода со шведами 1611 года говорилось: «боярские слуги останутся в крепости у своих владельцев, по принятому обыкновению, и не должны от них отбывать». Крепостное право и холопство признавались устоями русской жизни, которых не должен был трогать, сделавшись московским государем, ни шведский, ни польский королевич.

Созывая первое ополчение для очищения Русской земли от ляхов, Ляпунов и другие вожди «земской Руси» обращались с призывом и к общественным низам, говорили им в своих грамотах: «а которые боярские люди крепостные и старинные, и те бы шли без всякого сумнения и боязни, всем им воля и жалованье будет, как и иным казакам». Несмотря на такие обещания, в Ляпуновском ополчении был проведен приговор 30 июня 1611 года, в котором говорилось: «крестьян и людей, которые выбежали от своих господ, сыскивать и по сыску отдавать назад старым помещикам».

Это постановление, вместе с другими мерами, стеснительными для казаков, и было причиной распадения Ляпуновского ополчения и гибели самого Ляпунова. Отныне лозунгом всего земского движения становилась борьба с казаками: к этой борьбе призывали русских людей московские бояре, считавшие уже себя боярами царя Владислава и писавшие по городам, чтобы отстали от казаков:—«те воры казаки—наши и ваши холопы», они «сами на закон христианский стали, подобные жидам»; об этом взывал в своих грамотах вождь второго ополчения, нанятого и щедро оплаченного поволжскими торговыми городами; «казаки,—писал Пожарский,—к великому злу старые заводчики», они «творят все злое по своему казацкому воровскому обычаю»,—и он полгода вел войну с казаками, прежде чем дойти до Москвы и приняться за войну с ляхами. Реальным политикам той эпохи, троицким монахам с Палицыным во главе, стоило немалого труда примирить земских людей с казаками и заставить их, «отложив на время всякие недоволи», вместе ударить на поляков.

V.

Что принесла с собою смута, и принесла ли она с собой что-нибудь в русскую жизнь?—Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего припомнить, что восторжествовала не смута, а поднятая ею реакция имущих классов. Эпоха первых царей Романовых была прямым продолжением эпохи Шуйского и обоих ополчений, с тою только разницей, что посадский класс, оказывавший такое влияние на политику царя Шуйского и на создание ополчений (особенно второго), при первых Романовых был всецело заслонен дворянством. Дворян-

ство расцвело после смуты пышным цветом, и плодом этого развития было Соборное Уложение, на долго ставшее кодексом дворянской, крепостнической Руси; по выражению профессора 40-х годов Морошкина, «когда наше Отечество подклонило свою главу под острие преобразования (Петра Великого), одно Уложение пробилось сквозь ряды иностранных регламентов и победоносно возлегло на троне Екатерины II»; Уложение же все было пропитано тем сословным и приказным духом, какой восторжествовал над смутой.

Затем надо иметь в виду, что смута с ее вторжением иноземцев и гражданской войной тяжело легла на русское народное хозяйство. Страна была разорена, целые уезды запустели, села и деревни стояли без людей, церкви Божии без пения, поля поросли травой и лесом. Трехполье почти всюду исчезало, уступая место старому подсечному земледелию, денежные оброки снова заменялись натуральными; это был хозяйственный регресс; страна возвращалась в хозяйственном своем развитии на целый век назад. Торговые нации Западной Европы спешили воспользоваться этим экономическим расстройством Москвы, чтобы завладеть русскою торговлей, оттеснить от торговых барышей русское купечество, сделать русских, по выражению Крижанича, своими данниками «ясачными англичан, брабантцев и хамбуржан». Лишь к половине века страна стала оправляться от расстройства, вызванного смутой; меркантилизм Ордина Нащокина и Петра Великого был наилучшим показателем вновь налаживавшегося хозяйственного роста.

И внешней политике Московского государства смута нанесла, казалось, непоправимые удары. За Московской разрухой 1611 года, когда сгорела без малого вся Москва, тянутся длинной вереницей Деулино и Столбово,

отодвинувшие Россию и от Днепра и от Балтийского моря, от этого «ручейка», через который пришлось потом «перепрыгивать» Петру Великому; Смоленск с унизительной сдачей Шеина со всей русской армией, Азов с унизительным отказом от крепости, уже занятой для России казаками; Конотоп и Чуднов, где били русских те же поляки и только что отдавшиеся под московскую власть днепровские казаки, и победителей ждали уже в самой Москве; наконец, и само Андрусовское перемирие, вернувшее России Днепр с половиной Малороссии и с Киевом в придачу, но стоившее не только 13 лет войны, но и громадной трикратной контрибуции за Киев, который был таким образом скорее куплен, чем завоеван, да и эти еще все уступки, вынужденные у польского короля не столько русскими победами, сколько роковшем польской шляхты и грозой турецкого нашествия. Наконец, первая Нарва Петра... И только сто лет после смуты Полтавская битва могла покрыть новыми лаврами отвыкшее от них русское оружие. Не даром сам Петр называл эту победу «зело превеликой и неначаемой (неожиданной) викторией» и «неслыханной у нас новиною».

Все эти хозяйственные и военные неудачи Москвы показывали ее отсталость от Западной Европы и с неизбежностью приводили к заимствованиям, к усвоению западной техники и культуры, к целому ряду серьезных военных, финансовых, административных реформ по западным образцам. И от солдат и рейтар первых Романовых до регулярных полков Петра, от разрядов Тишайшего царя до губерний и коллегий великого его сына, и от западника, попавшего в заточение за свои «укоризны московским людям» (Хворостинина), до другого западника на престоле, других ссылавшего в заточения за уко-

ризны немецким новшествам, — идет, наростая, один процесс, теряясь одним концом в польских танцах царицы Марины Юрьевны, а другим—упираясь в немецкие «па» Анны Монсовой и Екатерины I. Весь XVII и не малая часть XVIII века неразрывной нитью оказываются связаны с московской смутой.

Наконец, политический строй России. Как ни велики были потрясения, пережитые во время смуты московским троном, следов от этих потрясений осталось меньше всего на русской жизни. О первом царе из дома Романовых можно еще спорить и вопрошать, не был ли он ограничен земским собором, или боярской думой,— а о его преемниках никто уже этого и не спросит; а затем является Петр Великий, самодержец par excellence,—достойный преемник Ивана Грозного, не мирившийся даже и с казацкими вольностями, с которыми должен был считаться Всегрозный царь. И в управлении после смуты мы видим те же старые удельные, вотчинные порядки, какие царили до смуты, даже до царя Ивана,— те же приказы и те же кормления, и в лице новых дворянских воевод—старых боярских волостелей с наместниками; и посадские мятежи XVII века являются прямым продолжением той войны с администрацией, какая велась в предшествовавшем веке и даже с бо́льшим тогда успехом; кормления, которые умел ликвидировать Грозный царь, не поддавались мудрости Петра и сами оказывались в силах ликвидировать все результаты его реформ. Все это было реставрацией московской старины, московского старого порядка. И надо сказать, прочная была эта реставрация. Если преемниками удельных наместников и волостелей являются воеводы XVII века, а их преемниками—губернаторы Петра Великого, то оттуда же ведут свой род и позднейшие русские интенданты,

целыми интендантствами садящиеся после всякой войны на скамьи подсудимых. При таких условиях трудно, действительно, становится разглядеть, что же нового внесла в эту картину смута?

И однако, это новое есть, или, по крайней мере, было. Эпоха записей и договоров, царских избраний и свержений, временных правительств «троеначальников» в первом ополчении и Минина и Пожарского во втором, с оговоркой о праве «всей земли» лишить власти этих воевод, «всею землей их переменить», если они «бою и земскому делу не пригодятся»,—не прошла и не могла пройти совсем бесследно для русского политического развития. Правда, непосредственных результатов это все не имело, и Россия не сделалась ни дворянской республикой, на манер Речи Посполитой, ни дворянской монархией по образцу Швеции,—но и само самодержавие московских государей после смуты уже не то, каким оно было до нее: политические бури смутного времени оставили свои следы на самом существе царской власти и Московского государства. После смуты мы уже не слышим о «многих государствах Российского царствия», а просто о Московском государстве, о «московской монархии», а позднее—о Российской империи; после смуты никому уже не приходит в голову дробить страну между наследниками, выделять уделы членам своего семейства. Остаются различные местные особенности и различия, племенные, экономические, культурные, но дробления прежнего больше нет, политическое единство заложено прочно; ослабевает и экономическое дробление, шатаются заставы внутренних таможен,—с ними ведет борьбу Тишайший царь, их упраздняет окончательно Кроткая Елизавет. Это единство завязывается во время смуты, когда слагается и самый термин «всей земли» на место прежнего «всея Руси».

С этим термином «всей земли» связана и другая существенная перемена. Смута могла закончиться реставрацией старого политического порядка, выросшего из вотчины дома Калиты, связанного с удельными кормлениями, могла даже усилить размах их действий; но после смуты эти старые порядки не могли уже царить над Русью так всецело и нераздельно, как это было раньше. Рядом с вотчинными порядками, понятиями и привычками выросли теперь из земли другие силы, с которыми надо было считаться самой реставрированной московской старине. Это были идеи земского дела, и земской пользы, воплотившиеся в земских соборах,—не в тех соборах, какие созывал из своих агентов царь Иван, а в настоящих выборных соборах XVII века. Правда, и земские соборы не уцелели и исчезли с лица земли русской под натиском растущего абсолютизма; но на целых полвека они расстроили игру вотчинных и приказных сил, задержав сколько возможно их развитие и отсрочив их торжество. В эпоху самой смуты эти соборы получили даже учредительную роль, они устанавливали порядок, они избирали государей, они собирались ограничивать царя Владислава и, может быть, царя Михаила. Целый ряд соборов, действовавших при самом Михаиле, и четыре последних собора при Алексее сыграли не малую роль в истории России; достаточно вспомнить хотя бы о соборе, издавшем знаменитое Уложение, и о том, какую роль играл именно собор, его выборные члены, в выработке этого Уложения. На этих соборах шла и критика вотчинных порядков и приказного и воеводского управления, раздавались жалобы на дьяков и подъячих, «построивших себе палаты каменные такие, что неудобьсказаемые», на воевод, от «задерживания и насильств» которых русские люди «в конец оскудели и обнищали», и

вообще на «московскую неправду и волокиту», которые «пуще турских и крымских басурманов» разоряют русскую землю. Не даром после жестокого мятежа в Москве летом 1648 года правительство, чтобы успокоить народ и унять смуту, спешило созвать земский собор, который должен был принять меры, чтобы мир более не «качался». Борьбу с кормлениями, которую вели в XVII веке земские соборы, после их исчезновения унаследовал в полной мере Петр; и тот же Петр, говоря о самом себе, заявлял открыто, что «стыдится брать жалованье и не служить»: для него власть была уже не вотчина, а служба, общественное дело. В своих указах он твердил о «всеобщем благе», о «пользе и прибытке общем», и мудрено представить себе бóльшую противоположность московским государям из дома Калиты, чем Петр, поскольку речь идет об этой стороне дела. Соборную традицию продолжала и блестящая ученица Вольтера на русском троне, представительница просвещенного абсолютизма, созывавшая нечто в роде земского сообра—в виде Большой комиссии,—хотя трудно вообразить более рьяную защитницу монархии, чем Екатерина. А в ее Наказе, на ряду с неустанной защитой самодержавного начала, находятся «аксиомы, способные опрокинуть стены», и в их числе—заявление, прямо обратное вотчинному принципу: «По все дни всем земным обладателям говорят, что народы для них сотворены; однако же мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа». Первоисточником всех таких идей, теорий, тенденций была «вся земля» эпохи смуты.

Но откуда же «вся земля» взяла этот принцип, оказавшийся в столь сильной и резкой дисгармонии с господствовавшими вотчинными началами русской жизни? Ведь на земских соборах преобладающее место занимало

дворянство, то самое дворянство, которое само выростало и воспитывалось в тех же вотчинах и усадьбах, откуда вынесли эти принципы их предшественники — бояре. Соборы были больше всего представительством сословия, которое так великолепно усвоило и впитало в себя эти вотчинные традиции, понятия и привычки, так верно и цельно повторило в воеводах XVII века старых кормленщиков XVI, которое до конца воспитывало в своем потомстве навыки и идеи, мало чем отличающиеся от идей и привычек их отдаленных предков. Не из барских усадеб были принесены на русскую политическую сцену эти принципы. Родину этих идей приходится искать в другом месте.

Этой родиной только и мог быть русский север, Заволжский или даже Поморский, с его развитыми сельскими и посадскими мирами, с их сходами и выборными властями, отчитывающимися в каждой копейке перед всем «миром», с торговыми и промышленными артелями, с артельными даже богадельнями и больницами в содержимых на общий мирской счет монастырях; яркую картину этой мирской жизни раскрыл перед нами в своих работах профессор Богословский. Здесь веками воспитывалась в людях привычка действовать сообща, работать «на пользу общую» служить, и ответственно служить общему благу, и пользе того общества, тех имущих классов, интересы коих покрывались громким именем «все земли». Эти понятия и привычки приносили с собой в Москву те земские отряды, какие высылал север для борьбы с революцией, с Тушиным, с казаками и с Литвой; те же понятия и привычки приносили с собой и те «добрые, смышленные и пожиточные люди», каких посылали северные посады и уезды на земские соборы и во время смуты, и долго

после ее конца. На земских соборах представителями севера были люди посадские: они и были звеном, связавшим соборы с северными мирами, а Москву и Россию—с соборами и «общим делом». Так, приблизительно, можно установить генеалогию нового вторгшегося в русскую жизнь в эпоху смуты буржуазного земского принципа. Не даром из всех элементов русского народа вспоминали потом о соборах, когда они уже исчезли,—и поминали их добром—одни посадские люди!

С этой точки зрения открывается новая перспектива, новый взгляд на смуту, как на одну из стадий вековой борьбы двух историчесих начал, двух принципов: вотчинного, господствующего испокон веков в русской жизни, и посадского или земского, с величайшим трудом пробивавшего себе путь через дебри русской истории. Северный посад ведет свою борьбу с русской боярско-дворянской вотчиной, и эта борьба тянется то с просветами, то с провалами, через всю новую русскую историю. Смута выдвинула вперед посад после смуты опять заслонила его вотчина, царившая нераздельно до «царя мастерового», как назвал Ключевский Петра Великого, подчеркивая тем самым посадский, городской характер этого царя, так стоявшего за экономию и отчетность, перестраивавшего на чисто коммерческих началах весь строй русского управления. И после Петра опять на два века выдвинулась вперед вотчина и царила едва ли не до октябрьских дней.

VI.

При всей связи между московской смутой и последующими судьбами России, трудно однако связать ее непосредственно с нашею эпохой, найти в ней корни самой

нынешней, современной нам русской действительности. Между нами и ею легла вся большая эпоха старого порядка, с развитым крепостным правом, с сословными привилегиями во всем их полном расцвете, с полицейским государством Петра Великого и Николая I, вся, одним словом, петербургская, а не московская Россия. XVII век и смута находятся по ту сторону нашего старого порядка; они предшествовали установлению того порядка, борьба с которым наполнила всю новейшую русскую историю, с конца века и по начало XX. Старый порядок установился, победив смуту и укрепившись на ее руинах, а нам приходится иметь дело уже с руинами самого старого порядка.

Ни один процесс не был закончен в Московской Руси XVII века, когда разразилась смута. Холопство уже господствовало, но крестьянская масса только закрепощалась и была еще далека от полного закрепощения. Дворянство уже росло и переростало остальные сословия, но еще не достигло полного торжества, не расцвело еще полным цветом. Самодержавие русских государей имело уже своего Ивана Грозного, но впереди еще был Петр Великий. Смута должна была остановить развитие этих процессов, и на первый взгляд казалось, что так оно и будет, что старой России с ее порядками, понятиями и привычками и со всем укладом жизни пришел конец. Но старые силы оказались сильнее, и реакция восторжествовала по всей линии. Старый порядок оказался не только жизнеспособен, но развивался еще и далее, пока не дошел до кульминационной своей вершины,—до эпохи Екатерины II, тогда началось обратное движение,—от трехдневной барщины Павла I к Сперанскому, от Сперанского к декабристам, от декабристов к петрашевцам, от петрашевцев к великим реформам и

народничеству, и т. д. и т. д., вплоть до 17 октября и первой Думы. Смута XVII века для нас—не прошлый, а позапрошлый день.

Таково место московской смуты в истории нашего собственного прошлого, в истории России. Но смута связана не только с русской историей; у нее есть связи со всей историей Европы, она занимает свое определенное место в европейских исторических анналах. Это место находится также по ту сторону того европейского старого порядка, от которого отделяет нас длинный ряд последовательных революций и реакций. Русская смута может быть поставлена в один ряд с теми европейскими движениями, какие поднимались в разных углах Европы, начиная с XIII века. Если московскую смуту характеризовать в двух словах, придется сказать, что это была попытка закрепощаемых классов населения не допустить этого закрепощения; попытка не удалась, и закрепощение состоялось. То же самое видим мы и везде в Европе; по всей Европе прокатилась, в течение пяти столетий, большая волна народных движений, которые все были вызваны той же причиной, и точно так же кончились неудачей. В XIII веке удары этой волны испытала на себе «царица морей» Венеция, с ее блестящими дожами и купеческим сенатом. В XIV—на Флорентинскую синьорию обрушились «чомпи»,—оборванцы, как их называли. Тогда же в Риме—движение Коло Риенцы против папы; в Англии—грандиозное восстание крестьян с Уотом Тайлером во главе, во Франции—жакерия. В XV веке—чешское гусситство. В XVI—крестьянская война в Германии. В XVII—московская смута, московские мятежи посадских и Разина, казацкие войны в польской Малороссии, крестьянские волнения в Австрии. К XVIII веку относится русская Пугачевщина,

со всех сторон обставленная десятками отдельных крестьянских волнений по разным углам России... Так от XIII века и до половины XIX и с крайнего запада Европы до ее крайнего востока,—от Аппенин и от Альбиона до Урала—идет одна сплошная волна крестьянских мятежей, в которых участвуют, как и в Московии, те или другие мелко-дворянские и мелко-буржуазные элементы. Когда эта волна, не достигнув своей цели, не размыв основ растущего старого порядка, схлынула под ударами реакции,—из-под отступивших вод выступили грозные громады Тоуэра и Бастилии, московских застенков и петербургских казематов. Другие общественные силы должны были вырасти и подняться новой мощной волной, чтобы разметать камни этих громад и на их развалинах утвердить новую демократию Европы.

ОБЪЕДИНЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
И. К. П.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

		Стр.
I.	Что такое была московская смута?	3
II.	Как современники объясняли смуту?	20
III.	Московское государство перед смутой	29
IV.	Смута и реакция на смуту	58
V.	Результаты смуты	71
VI.	Место московской смуты в истории России и Европы	79

Московское Отделение Государственного Издательства

(МОСГУБИЗДАТ).

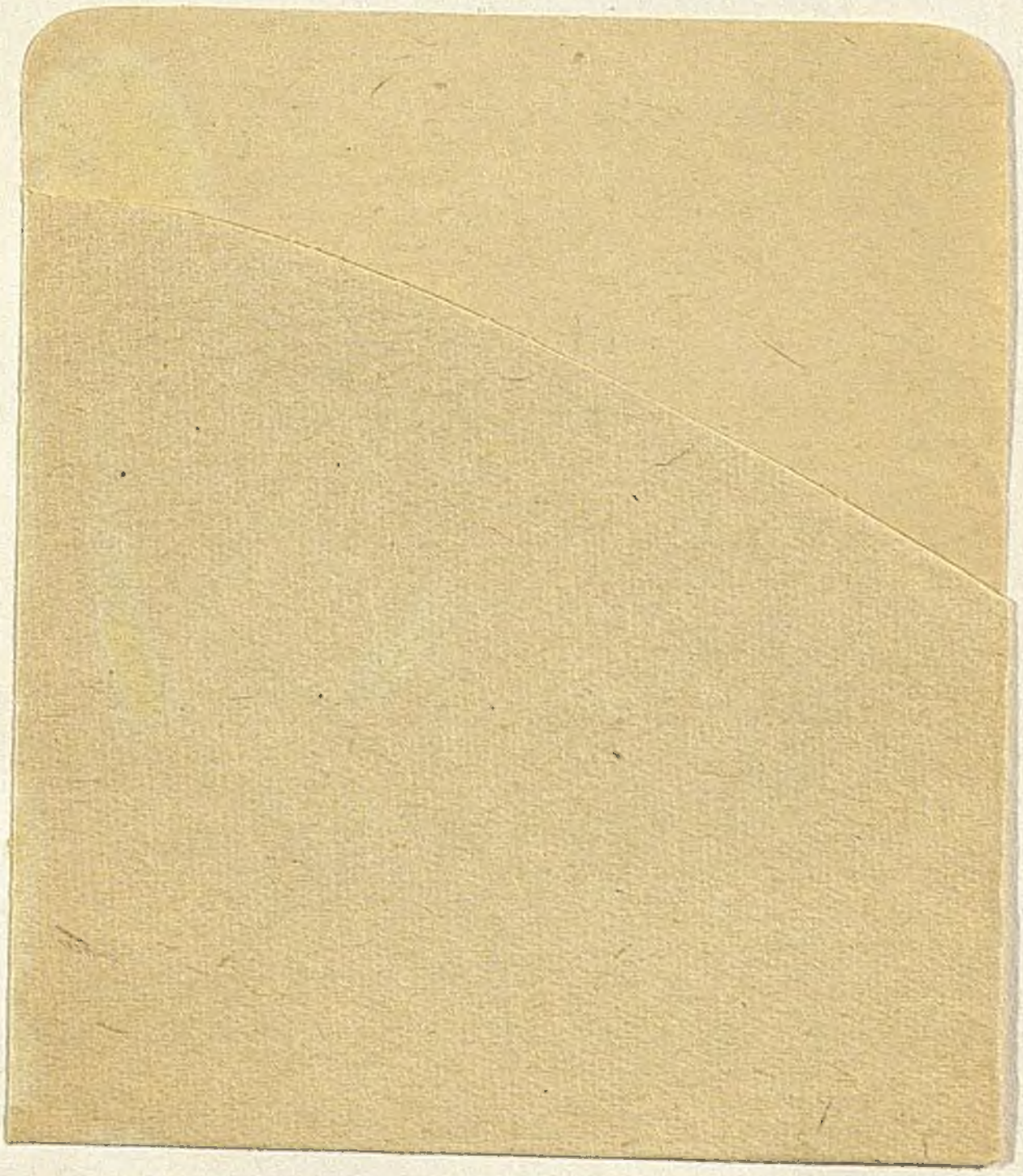
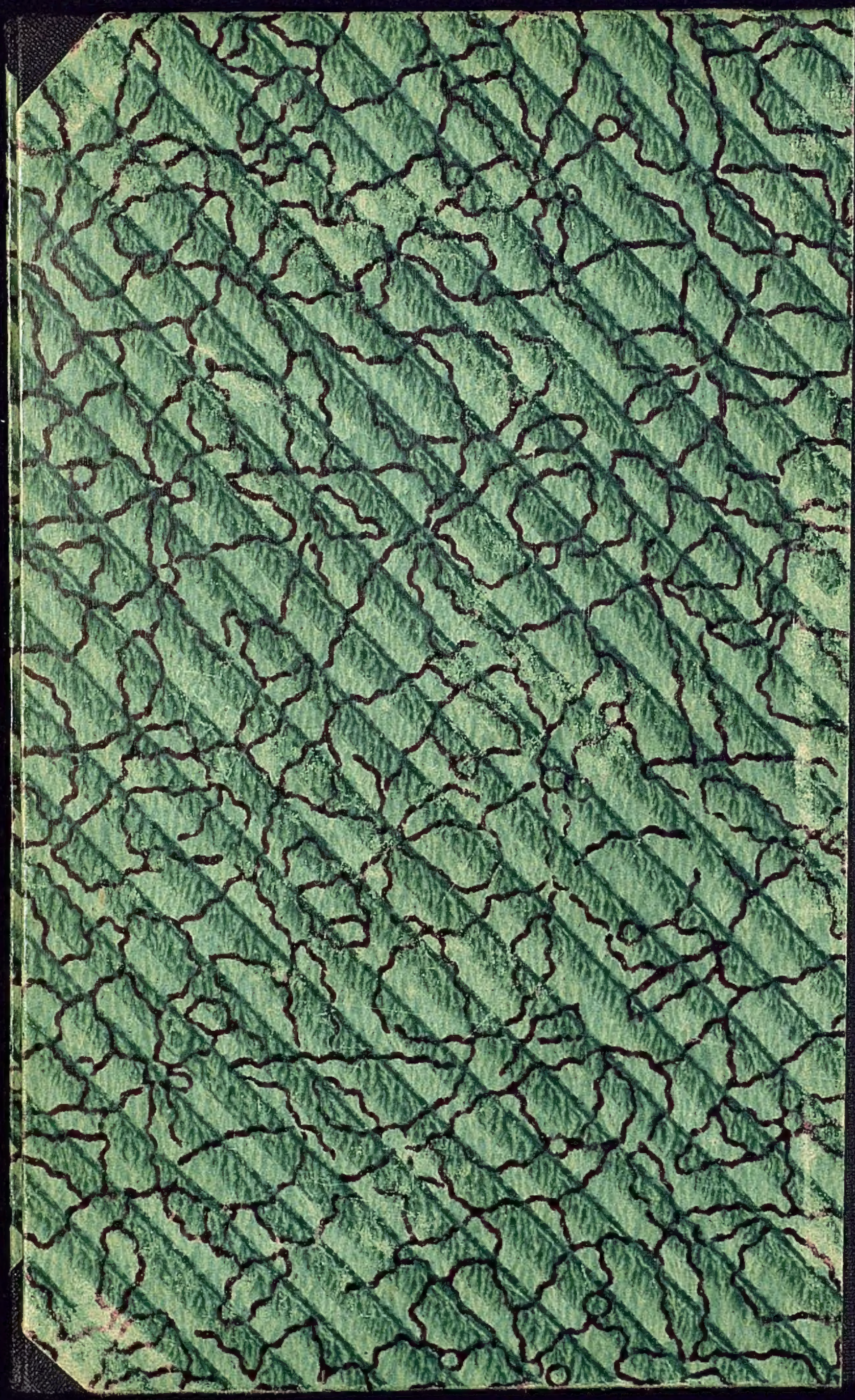
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

1. **Васильченко.** Две сестры. Пьеса.
2. **Шульгин.** Очерки 1920 г.
3. **Октябрьское восстание в Москве 1917 года.** Сборник статей.
4. **В. Переверзев.** Творчество Достоевского.
5. **П. Орешин.** Алый Храм. Стихи.
6. **Е. Бражнев.** Буйный хмель. Стихи.
7. **Бибик.** На черной полосе.
8. **В. Фриче.** Очерк развития западно-европейской литературы.
9. **К. Цеткин.** Карл Маркс и дело его жизни.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

1. **Л. Аксельрод-Ортодоке.** Л. Толстой. Сборник статей.
2. **Алтаев и Феличе.** В великую бурю. Повесть для детей.
3. **Андреевич.** Опыт философии русской литературы.
4. **Б. Келлерман.** 9-е ноября. Роман.
5. **Л. Каменев.** Экономическая система империализма.
6. **К. Каутский.** Этика и материалистическое понимание истории.
7. **М. Ковалевский.** Происхождение царской власти.
8. **Н. Ленин.** Две тактики социал-демократии в демократической революции.
9. **Н. Ленин.** Что делать.
10. **Н. Ленин.** Задачи Советской власти. Статьи и речи.
11. **Г. В. Плеханов.** В защиту революционного марксизма.
12. **Фич-Перкинс.** Мини и Мони. Повесть для детей.
13. **Фич-Перкинс.** Маленькие японцы. Повесть для детей.
14. **Накануне революции.** Сборник статей.

ГОТОВЯТСЯ:

1. **Плеханов.** Статьи об искусстве.
2. Хрестоматия по истории русского революционного движения до 1914 г.
3. Хрестоматия по истории русского революционного движения с 1914—1922 г.

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА ◇ 1922 г.